



ЕВРОПЕЙСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

**Дмитрий Травин**

**Модернизация  
и свобода**

Препринт М-79/20

Центр исследований  
модернизации



Санкт-Петербург  
2020

УДК 327(470)  
ББК 63.4  
Т 65

Т 65     **Травин Д. Я.**

**Модернизация и свобода** / Дмитрий Травин : Препринт М-79/20. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. — 68 с. — (Серия препринтов; М-79/20; Центр исследований модернизации).

В докладе исследуется вопрос, каким образом широкое распространение идей о необходимости свобод в Европе второй половины XVIII — первой половины XIX веков способствовало модернизации экономики и общества. Хотя основное внимание докладчик уделяет преобразованиям, осуществлявшимся в России, отечественные реформы сравниваются с реформами, проводившимися в других европейских странах.

*Информация об авторе:* Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации (ЕУСПб); [dtravin61@mail.ru](mailto:dtravin61@mail.ru).

Популярные в нашей стране представления о широком распространении свобод в Европе Средних веков и начала Нового времени сильно преувеличены. В частности, нет особых оснований говорить, будто у европейцев столетиями была защищена частная собственность [Травин 2013: 37–54], что появление хартий вольности и парламентов означало реальное участие народа в управлении [Травин 2018б: 4–19], что средневековые города обеспечивали бюргерам право, покой и порядок [Травин 2016: 9–15]. Защищенность личных и имущественных прав не являлась культурной особенностью Запада. Модернизация предполагала долгий, тернистый путь к свободе. Больших перемен на этом пути удалось достичь в основном в XVIII–XIX веках. Чуть раньше, в XVII столетии, лишь Голландия качественно отличалась в лучшую сторону от других европейских государств, но и в республике Соединенных Провинций той эпохи представления о свободах были весьма неоднозначными.

Во-первых, голландцам удалось в большей или меньшей степени обеспечить защиту собственности. Снизилась напряженность межклановых конфликтов. Сократилась уличная преступность. Города стали зоной безопасности благодаря появлению системы уличного освещения, запретам на ношение оружия и жестким ограничениям в употреблении спиртного. Но ключевую роль здесь играла организация соседских дозоров. Если роль полиции была невелика даже в Амстердаме (18 человек на весь город), то в ночной дозор регулярно отправлялось порядка 300 вооруженных амстердамских бюргеров, получавших за это небольшую плату. Иностранцы с удивлением отмечали, что по Голландии можно безопасно путешествовать и не беспокоиться о сохранности имущества [Израэль 2018: 105–110]. В других странах Европы положение дел было значительно хуже.

Во-вторых, постоянное бдение соседских дозоров резко снизило уровень домашнего насилия и впервые позволило женщинам свободно передвигаться по улицам, не опасаясь нападений. Тем самым они обрели бытовую свободу, которая раньше не была доступна даже аристократам. Домохозяйки отправлялись за покупками. Некоторые женщины

устраивались на работу. Даже конфликт, возникавший в семье, не мог укрыться от ночного дозора, после чего городские и церковные власти принимали меры для пресечения подобных эксцессов [Там же: 105–106].

В-третьих, гарантии личной и имущественной безопасности усиливались благодаря республиканскому устройству Голландии. Если монархи постоянно испытывали соблазн обстричь шерстку бюргеров, то государство, в котором большую роль играли богатые предприниматели, ограничивало свои амбиции. Республиканское устройство в XVII веке не было стабильным, поскольку шла постоянная борьба за власть между Штатами и штатгальтером. Тем не менее трудно переоценить значение Штатов на фоне формировавшегося в ту эпоху европейского абсолютизма.

В-четвертых, в Голландии возникла уникальная для Европы эпохи религиозных войн атмосфера веротерпимости. В XVII веке она, конечно, не могла иметь ничего общего с современной толерантностью к людям иных взглядов. Кальвинисты в той или иной мере ограничивали все же права католиков и представителей отдельных протестантских конфессий. Однако в сравнении с другими странами свобода совести, характерная для жителей Соединенных Провинций, была беспрецедентной, и это стимулировало приток иммигрантов, который, в свою очередь, позитивно сказывался на экономическом развитии страны [Там же: 63–64, 71, 103].

В-пятых, экономический успех Голландии был в первую очередь связан со свободной морской торговлей, поэтому бюргеры оказались естественными сторонниками фритредерства. Они выступали против административных запретов и таможенных пошлин. Однако подобное положение дел не устраивало те европейские страны, которые страдали от неспособности победить голландцев в конкурентной борьбе (прежде всего Англию и Францию). Поэтому свободная торговля медленно отступала под натиском протекционизма, и примерно к 1720-м гг. в Голландии возник серьезный экономический кризис, означавший завершение золотого века Соединенных Провинций [Там же: 208–210; 427–432].

Помимо этого, проблемы для голландских свобод проистекали и из самого характера общества Северных Нидерландов. Во-первых, свободы для бюргеров спокойно сочетались с работоторговлей, которая для этих самых бюргеров была золотым дном. Во-вторых, глубоко религиозное голландское общество отличалось сильным консерватизмом и не допускало свободы самовыражения в одежде и поведении (начиная с больших декольте у дам и заканчивая нетрадиционной сексуальной ориента-

цией). В-третьих, религиозность налагала ограничения на философские споры, и, хотя нигде в Европе мыслители не обладали такими возможностями для изложения своих взглядов, как в Голландии, давление Церкви и цензура сказывались на формировании духовной атмосферы голландского золотого века [Там же: 216–219]. Тем не менее стоит подчеркнуть, что даже в Британии XVII–XVIII столетий не имелось таких свобод, как в Голландии. В частности, из-за острых религиозных конфликтов и протекционизма, выразившегося в принятии навигационных актов.

Казалось бы, один-два небольших островка свободы не могут повлиять в целом на ситуацию в Европе, где господствовали протекционизм, религиозная нетерпимость и неуважение власть имущих к чужой собственности (а на территориях к востоку от Эльбы сохранялось еще и крепостное право). Однако во второй половине XVIII века положение дел стало радикально меняться почти всюду.

## Отзвук великого землетрясения<sup>1</sup>

1 ноября 1755 г. чудовищное по силе землетрясение уничтожило Лиссабон. Это было страшное, но, казалось бы, маргинальное событие. Лиссабон не относился к числу ключевых европейских экономико-политических центров той эпохи. Скажем, великий лондонский пожар 1666 г. не поколебал умы европейцев. А ведь международное значение английской столицы было существенно больше, чем значение столицы португальской. По всей видимости, в случае с Лиссабоном дело было не в конкретном городе, а в своеобразном символическом акте. Европейцы постепенно начинали ощущать ограниченность мировоззрения, доминировавшего в XVII — первой половине XVIII столетий.

Абсолютизм стремился управлять постепенно усложняющейся жизнью общества из единого центра, но ему все хуже удавалось это делать. Просвещенная королевская власть наводила порядок и содействовала развитию бизнеса, однако порядок этот все больше напоминал кладбищенский — дорожки проложены, могилки ухожены, однако серьезного развития не происходит. Старый рационализм предполагал, будто госу-

---

<sup>1</sup> Данный раздел представляет собой переработанный текст из соответствующего раздела книги Д. Травина, В. Гельман и А. Заостровцева «Российский путь: Идеи, Интересы, Институты, Иллюзии» [Травин, Гельман, Заостровцев 2017: 56–60].

дарство, руководствующееся разумом, может учесть важнейшие проблемы, стоящие перед обществом, и принять необходимые решения, но жизнь все чаще показывала, что мир чересчур сложен и решения, идущие сверху, больше мешают развитию, нежели помогают. По мере того как это становилось ясно просвещенным интеллектуалам, начинала рассыпаться идеальная картина старого мира. Все труднее было верить, будто принимаемые из центра решения будут делать мир совершеннее без каких-то дополнительных факторов, воздействующих на него.

А тем временем позитивный английский и голландский опыт, основанный на свободе предпринимательства и политических институтах, ограничивающих монархическую власть, привлекал все больше внимание в разных абсолютистских государствах. Соревнование моделей какое-то время шло с переменным успехом. С одной стороны, Франция Людовика XIV была, бесспорно, самой сильной европейской страной, но война за испанское наследство показала, что французской военной мощи можно поставить предел. С другой стороны, Голландия долгое время поражала Европу своими коммерческими успехами, но политика протекционизма показала, что существует предел и голландской торговой мощи. Страны, которые были слабее Франции на театре военных действий, пытались сопротивляться «гегемону» с помощью альянсов. Страны, которые были слабее Англии и Голландии в коммерческих битвах, пытались сопротивляться таможенными пошлинами. Европа какое-то время ожидала, чем же все это завершится. И тут вдруг рухнул Лиссабон.

В прошлом сей акт «божественного вандализма» сочли бы свидетельством гнева, который небеса обрушили на грешников. Церковь почти одинаково трактовала значение всех катастроф со времен Всемирного потопа. И по-другому раньше было нельзя, поскольку человек ощущал себя всецело зависящим от высших сил. Но рационализм заставил его размышлять самостоятельно и выстраивать самостоятельно свою жизнь в рамках просвещенного абсолютистского государства. Бог не исчез из картины мира, однако заметно подвинулся, предоставляя человеку возможность творить будущее наряду с Господом под руководством Короля-солнца. При таком подходе от человека все чаще требовалось понимание смысла всего происходящего. Традиционный подход по принципу «Бог дал — Бог взял» противоречил мировоззрению творческой личности. Как можно что-то рационально, целенаправленно строить, если построенное вдруг подвергается бессмысленному разрушению? Именно о таких вещах и заставил задуматься разрушенный Лиссабон. Катастрофа

вызвала «смятение философской Европы, получившей удар в сердце всех своих упований, перенесенных с Неба в “комфортабельную” повседневность» [Шоню 2005: 317]. Точнее, катастрофа дала серьезный аргумент в руки и в уста тех, кто скептически относился к возможностям строить все более совершенный мир с помощью рациональных решений, принимаемых просвещенным абсолютизмом<sup>2</sup>.

Крах привычных ментальных конструкций неизбежно порождает стремление искать альтернативу по соседству. Так обстояло дело в СССР эпохи Перестройки, когда вдруг рухнула вера в реальность строительства коммунизма и молодые поколения обратились к опыту успешного строительства капитализма за рубежом. Так же примерно обстояло дело в Европе второй половины XVIII века. Интерес к успехам Голландии и Англии резко возрос. А вместе с этим возрос интерес к тем свободам, которые были для этих стран характерны.

Одной из важнейших черт французского Просвещения было стремление изучить и использовать опыт Голландии и Англии. Модернизация во Франции дает нам один из наиболее ярких примеров того, как взаимодействие соседних культур становится катализатором преобразований. Впоследствии другие европейские страны станут уже ориентироваться на французский опыт, и таким образом культурное влияние будет передаваться все дальше, пока не достигнет российской периферии.

В жизни и трудах французских просветителей влияние соседних стран ощущается постоянно. Одни посещали Англию и Голландию с целью их изучения, подолгу жили в них. Другие даже учились там. Третьи в большом количестве читали книги английских авторов. Труды просветителей предлагают читателю на рассмотрение английский и голландский опыт. Он служит основой для выводов о необходимости осуществления преобразований во Франции. И вывод этот всегда однозначен: Франции нужна свобода, в том числе свобода хозяйственной деятельности.

Вольтер уже в 18 лет впервые побывал в Голландии. Тот краткий визит известен в основном лишь благодаря любовному роману, однако

---

<sup>2</sup> В какой-то мере падение Лиссабона для Европы 1755 г. можно сравнить с падением Берлинской стены для советского человека 1989 г. Если уж ГДР и другие европейские соцстраны, живущие богаче СССР, тянутся на Запад, то чего же стоит наш социализм? Советский человек и раньше видел провал социализма, глядя на пустые прилавки, но символический акт падения стены дал ему понять, что увиденное на прилавках — не случайность, а суть системы, которую мы создали.

девять лет спустя состоялось новое посещение, которое оставило уже яркие впечатления. В одном из писем Вольтер дает характеристику Амстердаму: «Я с уважением осмотрел этот город, являющийся торговым складом вселенной. В порту было более тысячи кораблей. Среди пятисот тысяч обитателей Амстердама нет ни одного бездельника, ни одного бедняка, ни одного щеголя, ни одного высокомерного человека. Мы встречали самого Пенсионария, шествовавшего пешком, без лакеев, среди простого народа <...> Никто здесь не лезет на заборы, чтобы поглядеть на проходящего принца. Здесь знают только труд и скромность» [цит. по Державин 1946: 15].

Через четыре года после визита в Голландию Вольтер отправляется в Англию, причем уже надолго, для серьезного знакомства с культурой этой страны. Итогом поездки стали «Философские письма», или «Письма об английской нации», как назывались они первоначально. Здесь содержатся уже совершенно определенные представления о том, по какому пути должна идти французская экономика: «Торговля, обогатившая английских горожан, способствовала их освобождению, а свобода эта, в свою очередь, вызвала расширение торговли; отсюда и рост величия государства: именно торговля мало-помалу породила морские силы, с помощью которых англичане стали повелителями морей» [Вольтер 1988: 98].

У Шарля де Монтескье в его знаменитом труде «О духе законов» проводятся подробные исследования того, как устроена жизнь у других народов. В главе «Торговый дух Англии» отмечается, что «этот народ лучше всех других народов мира сумел воспользоваться тремя элементами, имеющими великое значение: религией, торговлей и свободой» [Монтескье 1955: 437], а книга XI «во многом посвящена прославлению Англии, как свободного государства, где республика лишь притворилась монархией [Хархордин 2020: 67]. В популярной Энциклопедии Дидро и д'Аламбера также говорится о преимуществах английских и голландских купцов, о том, что они создали из торговли науку, и о том, что французы лишь подражали им, не уяснив себе принципов торговой деятельности [История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера 1978: 149]. Появлялись во Франции и конкретные специализированные исследования английского экономического опыта. Например, значительный успех имела книга Эрбера о хлебной коммерции в Англии, где доказывалось, что цены на хлеб начинают снижаться только благодаря свободе торговли, а вовсе не за счет регламентации со стороны государства [Афанасьев 1892: 129–130].



Позднее, в XIX веке, решающее значение имело уже изучение не столько английской торговли и политической системы, сколько фабричного производства. Как подметил Ричард Кобден — лидер английского фритредерства, «каждый иностранный торговец, посещающий наши фабрики, возвращается в свою страну носителем идеалов свободного мира и достойного правления» [Доусон 2019: 93].

Любопытно, что сами французы осознавали, какое значение для экономики может иметь изучение передового опыта. Один автор начала XVIII века отмечал, что успехи англичан и голландцев связаны с расположением их столиц в портовых городах. Благодаря такому расположению элита общества может непосредственно наблюдать все преимущества коммерции. «Если бы французской торговле так же посчастливилось, — несколько наивно завершал он свою мысль, — не понадобилось бы иных приманок, дабы обратить всю Францию в негоциантов» [Бродель 1992: 341].

Многие ли французы приходили в XVIII веке к выводу о преимуществах свободы торговли? Думается, что большое влияние, которое имели во Франции просветители, свидетельствует о том, насколько распространёнными были в образованных слоях общества идеи об использовании экономического опыта соседей. Бюрократическая, дирижистская традиция, идущая от Ришелье и Кольбера, все больше вступала в столкновение с нарождающимся фритредерством. По мере того как укреплялись новые идеи и по мере того как крепло Просвещение, все более очевидной становилась необходимость хозяйственных преобразований.

Влияние соседей на Францию осуществлялось не только через просветителей, но и через проникновение в страну иностранного капитала. Уже со второй половины XVIII века многие английские и шотландские предприниматели стали создавать по другую сторону Ла-Манша свои предприятия. Вслед за ними отправлялись британские рабочие и мастера. Французы, со своей стороны, ездили в Англию не только для того, чтобы посмотреть на устройство этой страны в целом, но и для проведения промышленного шпионажа на конкретных предприятиях [Бродель 1997: 283].

Выдающийся историк Фернан Бродель настолько высоко ставил влияние англичан и голландцев на экономическое развитие Франции, что даже считал бурный прогресс северных территорий страны (в Средние века отстававших от юга) в значительной степени следствием контакта с соседями [Бродель 1992: 343]. «Всегда имелось как бы две Франции — Франция, обращенная к морям и грезившая о свободе торговли

и приключениях в дальних странах, и Франция земледельческая, пребывавшая в застое, лишенная гибкости из-за навязанных ей ограничений» [Там же: 347]<sup>3</sup>.

Любопытно, что в экономической истории есть разные мнения о соотношении хозяйственных сил Франции и Англии в конце XVIII века. Одни считают, что Франция уже отставала [Kemp 1971: 44], другие — что опережала [O'Brien, Keyder 1978: 60–61]. По всей видимости, и современники не могли точно знать, кто лидирует, однако представления об отставании Франции были широко распространены. Если обратить внимание на некоторые свидетельства современников, нетрудно понять, почему они все меньше ценили хозяйственные достижения дирижистской Франции.

Изучим, например, французские наблюдения английского путешественника Артура Юнга. «Воистину здешние дороги суть колоссальные сооружения. Я проезжал через прорезанный насквозь холм, который представляет собой сплошную скалу <...> Великолепие сих дорог граничит с безумием. Громадные деньги тратятся на выравнивание даже небольших подъемов. Мостовая приподнята и выложена вдоль боков стенками, при переходе через канавы она поднимается на шесть, семь и восемь футов, а ширина ее нигде не меньше пятидесяти. Великолепен одноарочный мост. У нас в Англии не имеют даже представления о подобных дорогах. Движение, однако, не требует таких излишеств — мощеная часть на треть заросла травой. Проехав 36 миль, я встретил один кабриолет, полдюжины повозок и несколько старух с ослами. Для чего же тогда все эти траты? <...> Повсюду женщины без чулок, а многие и без башмаков. Но они могут утешаться тем, что идут по великолепной мостовой» [Юнг 1996: 55]. Юнг отмечает, что четверти затраченных государством средств было бы достаточно для поддержания дорог и что даже при въезде в Париж нет и десятой доли движения, наблюдающегося возле Лондона. Помимо дорог, Юнг описывает гигантские мануфактуры, производящие предметы, потребляемые государством и узким слоем придворной аристократии [Там же: 64–65, 81].

В известном смысле подобная роскошь, слабо связанная с экономическим развитием страны, ныне воспроизведена в Москве усилиями администраций Юрия Лужкова и Сергея Собянина. На первый взгляд, сто-

---

<sup>3</sup> Если быть точным, Бродель выделяет еще и третью Францию — восточную, ориентированную на «позвоночный столб» европейского капитализма, на линию Италия — Рейн — Нидерланды.

лица России выглядит символом успеха, тогда как в реальности, скорее, символом неэффективности экономики. В еще большей степени описания Юнга напоминают картину позднего СССР, когда, по статистике, наша страна была за счет производства разных видов вооружений, сельхозтехники, станков, угля и металла одной из передовых, но при этом народ страдал от дефицита товаров и завидовал хорошо одетым французам, которых видел в кино. Когда настало время реформ, никто у нас не ссылаясь на формальные статистические показатели, поскольку все хорошо понимали, что значительная доля производимого советской экономикой просто никому не нужна. Пожилые советские интеллектуалы, так же как французские просветители на 200 лет раньше, говорили о важности заимствования зарубежного опыта, а молодые практики готовились строить бизнес, как только для этого появятся легальные возможности.

В предреволюционные годы влияние фритредерских идей на Францию оказалось столь велико, что молодой монарх Людовик XVI, считавший себя представителем реформаторского крыла бюрократии [Hardman 1993: 44], дал возможность Жаку Тюрго осуществить либерализацию хлебного рынка страны и провести также некоторые другие важные реформы, нацеленные в конечном счете на стабилизацию королевских финансов. Реформы Тюрго постигла неудача [Травин, Маргания 2004, кн. 1: 159–176; Травин Маргания 2011: 83–96], но либерализация рынка и стабилизация финансов были осуществлены позднее — в ходе Великой французской революции и правления Наполеона I. Франция, конечно, не стала свободной страной; более того, якобинский этатизм и наполеоновская склонность к протекционизму, наряду с огромными военными потерями, нанесли стране столь значительный ущерб, что он перевесил в краткосрочном плане выгоды разрушения старого режима. Однако в долгосрочном плане выгоды модернизации перевесили издержки революционного волонтаризма. В годы Июльской монархии и Второй империи медленные позитивные преобразования изменили Францию.

Рынок как форма организации внутренней экономики в эти годы уже не отвергалась, но в международных экономических отношениях протекционизм с трудом уступал свои позиции. Франции приходилось делать выбор между возвратом в прошлое, в экономику «старого режима» (который был уже непопулярен в новых поколениях), принятием более либеральной английской модели развития (которая пока еще пугала из-за сложившихся представлений о французской неконкурентоспособности) и использованием той протекционистской системы, что стала

складываться при Наполеоне [Wright 1960: 197]. Поначалу именно третья модель представлялась наиболее подходящей. Психологически Франция страдала от страха перед английской экономической мощью, проистекавшего частично из понесенного в войне поражения, частично из учета реальной хозяйственной силы Британии, а частично из длительной изоляции от контактов с конкурентом [Dunham 1955: 13]. Иногда этот страх приобретал курьезные формы. Например, один депутат, представлявший интересы аграриев и очень обеспокоенный возможностью беспощинного проникновения чая на французский рынок, заявлял: «Потребление чая уничтожит наш национальный характер, превратив тех, кто его потребляет, в холодных пуритан нордического типа, тогда как вино возбуждает в душе благородную веселость, которая привносит в национальный характер французов остроумие и дружелюбие» [Wright 1960: 198]. Французские националисты видели особый путь своей страны в том, чтобы при неизбежной индустриализации избежать крупной концентрации труда, столь характерной для Англии [Caron 1979: 35]. Ведь сосредоточение промышленности в мегаполисах, на больших заводах и фабриках разрушает традиционный образ жизни, подрывает национальные ценности, создает социальные проблемы. Французы хотели, двигаясь собственным путем, получить от рынка одни лишь плюсы, оставив грубому Западу (Англии) его минусы.

Либеральные экономисты стремились бороться с протекционизмом, доказывали его несостоятельность и даже высмеивали. Фредерик Бастиа сочинил ироническое прошение свечных фабрикантов парламентариям, в котором те уверяли, что их главным конкурентом является солнце, и настаивали на издании закона, предписывающего запереть все окна и форточки, заткнуть все щели и трещины, через которые солнечный свет проникает в дома и наносит тем самым ущерб национальной промышленности. Еще одним «изобретением» Бастиа стал закон, предписывающий всем подданным короля в своей работе пользоваться лишь левой рукой, дабы производительность их труда упала и тем самым занятость расширилась [Бастиа 2000: 90, 110]. Однако интеллигентная ирония долгое время оставалась популярной лишь в узких либеральных кругах и не могла повлиять на настроения широких масс населения до тех пор, пока их заинтересованность в свободе торговли не стала в полной мере осознанной.

Июльская монархия слегка улучшила ситуацию в сравнении с режимом Реставрации. Средний размер таможенных пошлин снизился примерно на пять процентных пунктов, хотя и оставался все же довольно

высоким — 17,3 % [Caron 1979: 96–97]. Франсуа Гизо, фактический лидер в кабинете Луи-Филиппа, призывал бизнесменов: «Обогащайтесь посредством труда и бережливости» [Fountain 1973: 69]. Однако серьезные изменения произошли лишь в годы Второй империи при Луи Бонапарте.

Жизнь Наполеона III демонстрирует, как сильно может повлиять на реформы позитивный зарубежный опыт. Будущий император формировал свое мировоззрение в английской эмиграции, и все фритредерские идеи, которые обсуждались в Англии второй четверти XIX века, оказали на него большое влияние. В частности, он восхищался премьером Робертом Пилем, отменившим протекционистские хлебные законы. Поэтому уже в середине 1850-х гг. император несколько снизил таможенные тарифы на уголь, сталь, железо, различные виды сырья и продовольствия [Clapham 1923: 260]. А в 1856 г. он предложил парламентариям вообще ликвидировать запретительные таможенные ставки и сильно снизить все покровительственные пошлины. Инициатива вызвала, естественно, резкое отторжение у отечественных производителей, и фритредерство было на время отложено в сторону. Однако в это время значительная часть общества уже начала склоняться к свободе торговли, памятуя печальный опыт кризиса конца 1840-х гг., когда дороговизна угля и железа подорвала положение железнодорожных компаний. Императору было на кого опереться, и он пошел обходным путем. История договора о свободной торговле с Англией — яркий пример того, какую важную роль могут играть в развитии страны гражданское общество и гражданская инициатива даже при авторитарном режиме.

Основная заслуга в осуществлении фритредерского прорыва принадлежит профессору политэкономии *College de France* Мишелю Шевалье [подробнее см.: Dunham 1930: 28–62; Травин, Маргания 2004, кн. 1: 306–308]. Он призывал Наполеона III реализовать своеобразное завещание Наполеона I, который, находясь уже на острове Святой Елены, говорил о необходимости вернуться к свободной торговле и навигации. Эта идея понравилась императору, считавшему себя продолжателем дел великого предка, и скромный профессор стал членом Государственного совета.

Шевалье познакомился и подружился с ведущим английским фритредером Ричардом Кобденом еще в 1846 г., и в дальнейшем развитие их личных отношений стало важнейшим условием развития хозяйственных отношений между Францией и Англией. В 1859 г. в Англии они выработали параметры торгового договора, который следовало бы заключить между их странами. Кобден обсудил этот вопрос в правительстве, где

канцлером казначейства был один из лидеров либеральной партии Уильям Гладстон. После этого план был представлен Наполеону III и полностью им поддержан. Таким образом, именно Шевалье и Кобден, а не официальные государственные лица, в строжайшей тайне подготовили торговый договор, который был заключен в 1860 г. Парламентариям не оставалось ничего иного, кроме как принять это к сведению и санкционировать соглашение, поскольку право ведения внешней политики принадлежало императору. Согласно договору, страны отказывались от запретительных таможенных ставок и заменяли умеренными ввозными пошлинами. Например, тарифы на хлопок и шерсть теперь составляли лишь 10–15 %, тогда как раньше были запретительными. Тарифы на железо и сталь снизились на 50–75 %, на машины и оборудование — на 80 % [Smith 1980: 29]. В 1866 г. в развитие фритредерской политики во Франции приняли еще и Навигационный акт, облегчивший ввоз товаров морем [Clapham 1923: 261].

На личную судьбу Шевалье успех его торгового договора оказал противоречивое воздействие. С одной стороны, он после этого получил статус сенатора. С другой — Шевалье, в отличие от Кобдена, ставшего у себя на родине национальным героем, подвергся жесточайшей критике [Dunham 1930: 59, 136]. Слишком уж различным было отношение к свободе торговли в Англии и во Франции. Хотя парламентарии вынуждены были подчиниться воле императора, многие его подданные протестовали. В Париже 166 промышленников подписали петицию, направленную против договора. Впоследствии сторонники протекционизма собрали по всей стране еще более тысячи подписей за три недели. На первый взгляд, казалось бы, либерализация внешней торговли должна была нанести серьезный удар по французской экономике и привести к резкому возрастанию импорта. Однако на деле хозяйство стало даже более эффективным, чем раньше. Не только импорт, но и экспорт в 1860-е гг. значительно увеличился, а торговый баланс, который раньше был отрицательным, стал в итоге положительным [Caron 1979: 97, 103–104]. Если англичане имели сравнительные преимущества в добыче угля и руды, в табачной и некоторых отраслях пищевой промышленности, а также в строительной индустрии, то французы доминировали в текстильной и химической отраслях, а также в отдельных сферах производства продовольствия — например, в виноделии и сахароварении [O'Brien, Keyder 1978: 154–158, 162]. В некоторых случаях Франция сначала проигрывала конкурентную борьбу Англии, но затем смогла подтянуться за счет импорта технологий и повышения производительности труда.

## Падение рабства в Европе

Мы традиционно рассматриваем проблему рабовладения в Новое время лишь в истории Америки, однако она была актуальна и для Европы. Отмена крепостного права в России во многом предопределялась отменой крепостничества на европейских землях восточнее Эльбы, а та, в свою очередь, следовала за изменением отношения к рабству в Англии.

Отмена рабства в Британии была не таким простым делом, как может показаться на первый взгляд. Совершенно неверно распространенное в России представление, будто склонность к свободе является культурной чертой того или иного народа. Несмотря на широко распространившиеся в Англии XVIII столетия идеи свободы, долгое время существовали влиятельные группы, заинтересованные в сохранении рабовладения. Во-первых, это были плантаторы, производившие колониальные сельскохозяйственные товары с использованием подневольного труда. Во-вторых, торговцы, которые поставляли темнокожих рабов из Африки в Америку, включая латиноамериканские колонии Испании и Португалии [Травин 2018б: 60–61]<sup>4</sup>.

Американская революция в значительной степени ослабила первую группу, поскольку плантаторы южных штатов оказались после обретения независимости в иной стране и уже не влияли на положение дел в Англии. При этом для Соединенных Штатов проблема оставалась максимально сложной. Рабство сохранялось там на протяжении почти целого века после революции, а группы интересов, связанные с рабовладением, были настолько сильны, что проблема решалась в конечном счете посред-

---

<sup>4</sup> Можно отметить, что с 1620 г. в Вирджинии существовало такое явление, как «временное договорное рабство» (Indentured Servitude) для белых, охватившее, по некоторым оценкам, более трех четвертей поселенцев, прибывавших в этот регион в XVII веке. В широком смысле данный институт нельзя назвать рабством, поскольку речь идет о мигрантах, которые, как правило, добровольно отправлялись за океан, но не имели денег на дорогу, а потому обязывались в течение нескольких лет отрабатывать на плантациях те средства, которые работодатель потратил на транспортировку. В эти годы они мало отличались от рабов, но впоследствии возвращали себе свободу [Galenson 1984]. Важно подчеркнуть, что свободолюбие англичан несколько не мешало им использовать подневольный труд таких же англичан (а позже — ирландцев, шотландцев, немцев), коли выпала подобная возможность. Думается, культурные основы «временного договорного рабства» в английских колониях и крепостничества на европейских землях, расположенных к востоку от Эльбы, примерно одинаковы.

ством гражданской войны, а не через осуществление реформ, как в других странах (включая Россию). Что же касается Англии, то там в конце XVIII века развернулась мощная кампания против рабства, и в 1788 г. Уильям Уильберфорс внес в парламент проект билля о его отмене. Тем не менее, поскольку работорговля представляла собой чрезвычайно выгодный бизнес, Англия еще почти два десятилетия созревала для принятия решения. Работорговля была отменена в 1807 г. [Грин 2018: 767, 827, 855]. Но после этого понадобилось еще почти четверть века для того, чтобы было запрещено рабство как таковое. По всей видимости, при отсутствии работорговли и, соответственно, пополнения числа невольников, трудящихся на плантациях, рабство к этому времени практически исчезло само, и вместе с ним исчезла группа интересов, стремящаяся к его сохранению. Так что к распространенному у нас в стране ироническому высказыванию, что первое метро в Лондоне и отмена рабства в России случились одновременно, следует добавить, что между отменой рабства в Англии и строительством метро прошло всего лишь 30 лет.

Впрочем, как бы остро ни стоял вопрос об отмене рабства в Англии, бесспорно, вопрос о крепостном праве в Пруссии и империи Габсбургов стоял острее. Начало преобразований в Пруссии относится к тому времени, когда пруссаки потерпели поражение от Наполеона под Йеной. После этого появился королевский эдикт от 9 октября 1807 г., подготовленный бароном фон Штейном и представлявший собой первый шаг в области аграрных преобразований. В соответствии с этим документом в стране уничтожались крепостная зависимость (для одной части крестьян сразу, для другой — с 1810 г.) и сословное деление общества. Соответственно, вводился свободный рыночный оборот земель. Крестьяне и бюргеры с этого момента могли приобретать дворянские земли, что должно было способствовать как повышению эффективности их использования, так и развитию ипотеки.

Впрочем, «разрешить рынок» было не так уж трудно. Главные проблемы при этом сохранялись. Если французская революция дала народу землю в условиях, когда дворянство не могло оказать должного сопротивления, то прусской монархии надо было каким-то образом урегулировать отношения помещиков и крестьян. Эдикт 1807 г. фактически не решал проблему создания частной собственности в современном смысле слова. По-прежнему оставались в силе все крестьянские повинности, обусловленные не личной зависимостью, а правом пользования землей или особыми контрактами [Костюшко 1989: 68]. Таким образом получалось, что эффективность ведения хозяйства крепким крестьянином



все же ограничивалась обязанностью нести старые повинности, а эффективность ведения помещичьего хозяйства снижалась из-за обязанности поддерживать бедствующего арендатора. Ведь даже самый заурядый крестьянин имел право на получение от помещика пособия в случае неурожая или падежа скота, а также право на древесину и валежник из господского леса. Кроме того, помещик отвечал за уплату податей в случае несостоятельности крестьянина и обязан был возводить необходимые тому постройки, что после разрушений, вызванных войной с Наполеоном, было особенно актуально [Освобождение... 1897: 205]. Пребывавшие в единой «хозяйственной связке» помещик и крестьянин по-прежнему мешали друг другу жить и работать. Завязывавшийся веками узел надо было так или иначе разрубить.

Трудно сказать, каким образом собирался разрешить данную проблему Штейн. Историк Георг Кнапп полагал, что сам глава реформаторов не собирался после отмены крепостной зависимости давать помещику возможность распоряжаться крестьянской землей, тогда как все сотрудники реформаторского министерства считали охрану крестьянина мерой, не соответствовавшей требованиям времени [Кнапп 1900: 113]. Учитывая значение, которое Штейн придавал необходимости единения нации в борьбе с Наполеоном, можно поверить, что он не хотел серьезно ущемлять крестьянство. Тем не менее, скорее всего, еще до отставки Штейна наметился сдвиг к помещичьему варианту решения земельного вопроса.

Проект преобразований, подготовленный либералом старшего поколения бароном Фридрихом Леопольдом фон Шрёттером, давал право помещику объединять крестьянские надельные участки в крупные имения или присоединять их к господским землям. Хотя Штейн сперва отверг этот документ, основные его идеи после доработки, осуществлявшейся, судя по всему, Теодором фон Шёном, сохранились. В конечном счете Штейн был вынужден их одобрить [Там же: 109–119]. Очевидно, он понимал, что иным, более мягким путем реформа в принципе осуществляться не может. С одной стороны, многие крестьяне были слишком разорены войной для того, чтобы быстро стать эффективными хозяевами. С другой — доминирующая роль помещика в прусской деревне при отсутствии независимой администрации все равно делала шансы решения вопроса в пользу крестьян минимальными. В Пруссии не имелось серьезной силы, которая смогла бы на практике отстаивать интересы крестьянина в борьбе с помещиком даже в том случае, если бы условия реформы оказались более благоприятными по отношению к первому, а не ко второму.

Уже через несколько месяцев после начала реформы — 14 февраля 1808 г. — помещики получили возможность в ряде случаев присоединять к своим имениям крестьянские наделы. Следующий шаг был сделан в 1811 г. при администрации князя фон Гарденберга [биографии Штейна и Гарденбера см.: Травин, Маргания 2011: 139–152]. Значительной части крестьян (в основном владельцам крепких, жизнеспособных хозяйств) предоставлялось право частной собственности на землю — с тем, однако, условием, что они половину (ненаследственные держатели) или треть (наследственные) ее отдадут помещику. В 1816 г. в практику регулирования аграрных отношений были внесены окончательные разъяснения, и начался процесс качественных преобразований, который в основном завершился к концу 1830-х гг.

Несколько иначе протекал процесс реформирования на Западе Германии — в Рейнланде и Вестфалии. Во время французской оккупации там и реформа была проведена на французский манер, т. е. в пользу крестьян. Однако затем результаты этой реформы были отменены, и возобладали прусский путь преобразований.

В конечном счете аграрная реформа привела к тому, что значительная часть крестьянских земель перешла к помещикам и усилила мощь юнкерских латифундий. Так, например, в Бранденбурге крестьяне к концу 1850-х гг. потеряли около 20 % своих земель [Кахк 1986: 284]. Кроме того, слабые крестьянские хозяйства, которые не подлежали регулированию по нормам 1816 г., во многих случаях присоединялись к помещичьим фольваркам [Костюшко 1989: 132]. По оценке Х. Холборна, к середине 1840-х гг. от 46 до 54 тыс. крестьянских хозяйств вместе с 70 тыс. мелких семейных владений попало в руки знати [Holborn 1964: 409]. Другой исследователь М. Китчен, подводя итоги аграрной реформы в целом, указывал: большинство историков полагает, что крестьяне потеряли примерно 2,5 млн акров, или порядка 45 % всех земель. При этом особенностью аграрной Германии стало то, что, в отличие от английской практики крупного землевладения, образованные после реформы поместья не сдавались в аренду фермерам, а управлялись централизованно как единое капиталистическое хозяйство [Kitchen 1978: 13]. В начале XX века более 60 % обрабатываемых земель Германии приходилось на крупные и средние хозяйства [Гриневич 1924: 53]. Можно сказать, что в конечном счете возобладала точка зрения не Штейна, а Гарденберга, согласно которой сохранение крестьянского хозяйства было поставлено в зависимость только от его способности к выживанию, а не от покровительства государства [Seeley 1879a: 22]. Гарденберг действовал уже

после завершения войн и мог не слишком беспокоиться о необходимости учета интересов широких крестьянских масс.

Важным этапом реформы стал также раздел общинного хозяйства, осуществленный в 1821 г. Община препятствовала становлению хозяйственной самостоятельности крестьян, сохраняла зависимость отдельных производителей друг от друга. Превращение общинного имущества в частную собственность позволяло его продавать, закладывать, пускать в нормальный хозяйственный оборот.

Завершающие штрихи реформы были сделаны в середине XIX века. Поделили те земли, до которых не дошли руки раньше, причем попытались теперь в большей степени учесть интересы крестьянства. Однако качественно это уже не могло изменить ситуацию доминирования юнкерских хозяйств [Кауфман 1909: 54].

В марксистской литературе распространена точка зрения, согласно которой суть реформы оказалась выхолощена в интересах помещиков и не достигла того уровня, который обеспечила французская революция [Базаров, Степанов 1905: 4; Меринг 1924: 120–121]. Такой подход можно было бы считать правильным, если бы целью аграрной реформы являлось именно наделение землей крестьян. Однако на самом деле первостепенное значение для экономического развития имеет не то, кому достанется спорное имущество, а сам факт четкого определения прав на него. Главное, чтобы появился конкретный собственник, имеющий защищенную законом возможность использовать землю в своих хозяйственных интересах или продать ее на сторону. Если такой собственник имеется, рынок перераспределит землю так, что она попадет к эффективному хозяину. В Пруссии реформа была проведена хоть и медленно, но успешно. Возникли крупные, хорошо работающие юнкерские хозяйства, а массовый отток безземельных крестьян в город способствовал существенному расширению размеров рабочего класса и, соответственно, промышленному развитию. «В смысле экономической модернизации реформы больше дали Пруссии, нежели революция — Франции» [Blanning 1989: 113].

Возможно, это стало не столько результатом сознательных действий реформаторов, сколько объективным следствием зависимости от исторического пути. Ведь в прусской деревне со времен правления Великого курфюрста Фридриха-Вильгельма помещик был царь и бог [Травин 2019: 36], а потому провести реформы, ущемляющие его интересы, вряд ли оказалось бы возможно.

Но, как бы то ни было, с высоты наших сегодняшних знаний о том, насколько динамично развивалась Германия во второй половине

XIX века, трудно переоценить значение экономических реформ Штейна и Гарденберга. С 1815 по 1850 г. имел место существенный прогресс в сельском хозяйстве. Особенно на восточных землях. Прусские юнкеры превратились в эффективных хозяев. Германия стала одним из аграрных лидеров Европы, а в сфере химизации сельского хозяйства ей вообще не было равных [Clapham 1923: 50, 206]. Урожайность зерновых в Германии постепенно стала самой высокой среди европейских стран. В 1913 г. она была в два раза выше, чем во Франции [Гриневиц 1924: 63–64]. Такие успехи не были, естественно, следствием особой эффективности дворянского землевладения. Скорее, сыграл свою роль рынок, на котором крупные хозяйства легко переходили из рук в руки. Плохо работающие поместья продавались и приобретали новых собственников. Например, уже в 1824–1834 гг. в Восточной Пруссии разорилось 230 юнкерских хозяйств, оказавшихся в конечном счете в руках буржуазии [Kitchen 1978: 24]. А к 1885 г. только 13 % лагифундий Восточной Пруссии находились в руках одной и той же семьи на протяжении полувека [Natterow 1958: 51]. Таким образом, третье сословие в Германии добилось своего, но, в отличие от Франции, успех сопутствовал только той его части, которая смогла хорошо распорядиться капиталом и землей.

Пруская аграрная реформа не только способствовала развитию самого сельского хозяйства, но и сформировала предложение рабочей силы в тех регионах, где вскоре начала развиваться промышленность. Производительность в аграрной сфере росла, численность занятых сокращалась. Оставшиеся получали более высокую зарплату, а люди, оказавшиеся без работы, переходили трудиться в иные отрасли экономики. Скажем, шахты Верхней Силезии в середине XIX века получили более половины своих работников благодаря внутренней миграции [Haines 1982: 378–379].

Вторым важнейшим элементом комплекса прусских реформ стала ликвидация цехового строя, осуществленная Гарденбергом в 1808–1811 гг. Эта реформа в значительной степени легализовала то, что уже раньше существовало на практике. Инструкция, спущенная из Берлина провинциальным властям, гласила: «Каждому должно быть позволено развивать все свои способности и силы настолько свободно, насколько это возможно. А все существующие ограничения для этого должны быть отменены так быстро, как это только возможно» [Kitchen 1978: 18]. Цеха и гильдии лишались всех имевшихся у них привилегий. «Для Пруссии началась эра свободной торговли и свободной промышленности» [Дживелегов 1908: 59]. Эта страна, недавно еще являвшаяся одной из самых

экономически отсталых в Германии, теперь оказалась вдруг впереди своих соседей [Pascal 1946: 28].

Немаловажное значение для экономической либерализации имел и прусский эдикт 1812 г. о предоставлении равных гражданских прав евреям. Вернер Зомбарт сильно преувеличивал их роль, когда утверждал, будто упадок и процветание европейских стран в XV–XVII веках связаны с приходом и изгнанием евреев [Зомбарт 1910: 22], но в целом значение евреев для экономики очевидно. Из 370 самых известных немецких бизнесменов XIX века 74 % были протестантами, 16 % католиками и 7 % евреями, при этом по состоянию на 1900 г. в Германии проживало 62 % протестантов, 36 % католиков и 1 % евреев. Таким образом, евреи дали стране больший процент бизнесменов, чем составляла их доля в населении страны. Понятно, что без уравнивания в правах они такой роли сыграть не могли бы [Mathias, Postan 1978: 513].

Третьим элементом комплекса преобразований в Пруссии стала финансовая реформа. Гарденберг не исключал эмиссии бумажных денег и формирования госдолга в связи с необходимостью выплаты репараций Наполеону, но не хотел вводить подоходный налог, как «инквизиторский и не соответствующий духу нации». Однако Бартольд Георг Нибур считал такой план авантюрой и отказался занять пост министра финансов, уйдя с госслужбы в науку. Другой реформатор — Шён постарался использовать политический вес Штейна для давления на Гарденберга. Премьер считал своего предшественника авторитетом в экономических вопросах и пригласил для консультаций, на которых получил от него текст с изложением финансового плана Шёна [Seeley 1879b: 68–75]. В итоге начало преобразований оказалось сравнительно либеральным. Инфляции удалось избежать, но в 1820 г. были введены новые налоги — поземельный и подоходный, а обслуживание госдолга съедало порядка 20 % бюджета. Финансы оставались нестабильными, хотя Гарденбергу удалось добиться главного — налоги стали платить все подданные королевства, независимо от принадлежности к высшему сословию и личных заслуг. С 1825 г., когда министром финансов стал барон Фридрих Христиан фон Мотц, стала улучшаться и ситуация с бюджетом. Был ликвидирован дефицит. Впервые за всю историю страны траты на содержание армии стали составлять меньше половины государственных расходов, хотя они по-прежнему существенно превышали траты австрийские или баварские [Henderson 1939: 54; Holborn 1964: 456–457].

Наконец, четвертым элементом прусских реформ (и, возможно, самым ярким) стало создание таможенного союза. Внутри Пруссии сохра-

нялось 67 таможенных тарифов, не считая тех, которые были введены шведами в Померании и французами на левом берегу Рейна. В 1818 г. подавляющее большинство внутренних ограничений для торговли было ликвидировано [Carr 1969: 25–26]. Различные прусские провинции составили единый рынок, столь необходимый для ускоренного развития экономики. Более того, прусский тариф стимулировал свободное присоединение других германских государств к единому таможенному пространству. Он был сравнительно либеральным для того времени, не препятствовал внешней торговле, не поощрял контрабанду и давал неплохие поступления в казну.

Удачная таможенная политика Пруссии стала следствием не только высокого уровня реформаторской политики, но и благоприятного для фритредерства стечения обстоятельств. Конечно, в Германии, как и в других странах Европы, существовало сильное лоббирование в пользу отечественных производителей, проигрывавших конкурентную борьбу англичанам, чьи товары проникали на немецкий рынок через старые либеральные города — Гамбург и Бремен. Появился даже своеобразный гимн протекционизма: «Восстань, курфюрст. Уже набат / Достиг твоих ушей. / Избавь Германию от банд / Тиранов-торгашей. / Британца жадного убрать! / Не пожалеем жизни, / Чтоб процветала наша мать — / Промышленность отчизны» [Henderson 1939: 24]. Однако прусские промышленники, в отличие, скажем, от французских, несмотря на поэтические порывы, оказались одиноки в своем стремлении к протекционизму. Влиятельные юнкеры их не поддерживали, поскольку аграрные хозяйства были ориентированы на экспорт. Юнкерство опасалось принятия запретительных мер со стороны Англии в том случае, если Пруссия постарается закрыться от английских товаров. В итоге единого протекционистского фронта не получилось. Эгоизм помещиков сработал на пользу всей экономике.

Прусские фритредеры, правда, тоже были слабы. Хотя идеи Адама Смита оказали большое воздействие на профессоров и выпускников университетов, доминирующим интеллектуальным течением в официальных кругах оставался меркантилизм. Но при этом сильное подавление хозяйственной свободы было невозможно, поскольку после наполеоновской континентальной блокады излишняя жесткость в таможенной защите воспринималась в немецких патриотических кругах как французский деспотизм [Price 1949: 14]. Объективно это работало на фритредеров. В условиях раскола различных групп интересов у реформаторов имелась возможность для осуществления политического маневра.

Поэтому первые проекты создания единого таможенного пространства, охватывающего территорию ряда германских государств, стали появляться сразу, как только были изгнаны наполеоновские войска. Участники многочисленных дискуссий разделились на две группы: на фритредеров и прагматиков [Лист 1891; Price 1949: 26–31, 45; Roussakis 1968: 35].

К числу первых относились бизнесмены и политики бывших торговых ганзейских городов (Любека, Гамбурга, Бремена), Франкфурта, а также ряд интеллектуалов из рейнских и южногерманских земель, воспринимавшие фритредерство как веление времени. Идея свободы торговли для них сочеталась с патриотической идеей, поскольку неконкурентоспособный бизнесмен считался плохим гражданином. Если он не способен, напрягая силы, биться с иностранным конкурентом, то ему лучше эмигрировать. Понятно, что при таком подходе протекционизм не требовался.

К числу вторых относились промышленники и купцы, желавшие устранения всех внутренних таможен, разделявших германские государства, в сочетании с повышением пошлин на внешней границе Германии. Прагматики были значительно лучше организованы. Их лидер — профессор из Тюбингена Фридрих Лист — создал Германскую торгово-промышленную лигу, в которую вошли влиятельные предприниматели из южных и западных немецких государств. По мнению Листа, свобода торговли хороша в идеале, но до нее еще надо пройти долгий путь. Что хорошо для конкурентоспособных англичан, то плохо для немцев, которым еще надо совершенствоваться. Поэтому хоть запретительные пошлины для экономики и вредны, но протекционизм в Германии пока что полезен: он должен стимулировать отечественного производителя. На базе подобной философии Лист воевал с фритредерами и называл их порой британскими агентами.

В 1819 г. Лист сумел в основном склонить к таможенному союзу Баварию, Баден, Вюртемберг и некоторые малые немецкие государства. Тем временем Пруссия проводила политику таможенного аншлюса, втягивая в сферу своего влияния другие малые государства. Из этих двух одновременно реализующихся проектов второй оказался конкурентоспособнее, поскольку «демократичность» первого тормозила переговоры и согласование интересов участников потенциального союза. Пруссия же, несмотря на авторитарность своего подхода, привлекала партнеров масштабами внутреннего рынка. Южане к 1828 г. смогли создать союз лишь из двух государств — Баварии и Вюртемберга, но к 1833 г. Пруссия втянула в орбиту своего влияния все основные герман-

ские государства (в конечном счете два десятка), включая южан. За основу был принят прусский тариф, и именно Пруссия представляла таможенный союз на всех международных переговорах. Каждое государство сохраняло при этом определенные права, гарантирующие его независимость, но они были в значительной степени формальны. Политический курс не мог сильно отклоняться от генеральной линии [Price 1949: 78–105, 194–198; Henderson 1977: 37–38].

Построение таможенного союза завершило эпоху великих реформ, начавшуюся в годы национального унижения немцев и растянувшуюся более чем на четверть века. «Современники долго помнили, как в эту памятную ночь на 1 января у всех пограничных шлагбаумов собрались сотни повозок с товарами и с каким ликованием был встречен всюду бой башенных часов, возвестивших одновременно и наступление нового года, и начало эры свободной торговли в Германии. Победа Пруссии, одержанная в эту ночь, была более решительна, чем победа под Садовой» [Дживелегов 1908: 97]. Таможенный союз стал важнейшим элементом не только хозяйственного развития, но и развития национального. Август Хоффман фон Фаллерслебен, автор германского гимна, посвятил Таможенному союзу свои строки: «Ты создашь из немцев нацию. / Пробудишь величья дрожь. / Больше чем Конфедерацию — / Ты отчизну нам вернешь!»

Если в Пруссии отмена крепостного права и земельная реформа осуществлялись комплексно на протяжении нескольких десятилетий сразу после шока, полученного от Наполеона под Йеной, то в империи Габсбургов вызревание преобразований растянулось на более долгий срок. Представления о необходимости перемен сформировались в «верхах» уже в последней четверти XVIII века, но общая готовность державы к реформированию появилась лишь к середине XIX столетия.

Начало преобразований было связано, скорее, с субъективным фактором — с деятельностью энергичного императора Иосифа II, для которого просвещенный абсолютизм его матери — Марии Терезии был как недостаточно абсолютным, так и недостаточно просвещенным [Macartney 1978: 2]. Получив единоличную власть после кончины императрицы, Иосиф энергично взялся за дело [Травин, Маргания 2004, кн. 1: 577–591; Травин, Маргания 2011: 69–82], однако поспешность, с которой эта деятельность осуществлялась, часто мешала реализации замыслов [Johnston 1972: 16]. Его именитый «коллега» Фридрих II Прусский иронично высказывался по этому поводу: «Император Иосиф — человек с головой. Он мог бы многое произвести, но жаль, что всегда делает второй шаг прежде первого» [Кони 1997: 478].



В 1781 г. Иосиф патентом о подданных отменил крепостное право в Чехии, Силезии и Галиции, а несколько позднее — на других землях империи: в Штирии, Каринтии, Венгрии, Крайне и Трансильвании. Однако отмена крепостного права не была еще решением земельного вопроса как такового. Поэтому важнейшим дополнением к патенту о подданных стал урбариальный патент 1789 г., в соответствии с которым барщина заменялась оброком (денежной компенсацией помещику), который не должен был превышать 17 % дохода крестьянина, и налогом (выплатой в государственный бюджет), ограниченным 12 % [Полтавский 1992а: 218]. Более того, поземельный налог становился единым и распространялся не только на крестьянские, но и на дворянские земли, отчего аристократия в финансовом отношении сильно пострадала. Неудивительно, что авторитарные преобразования Иосифа вызвали сильное отторжение во влиятельных имперских кругах.

Когда император скончался в 1790 г., исчезла та сила, которая энергично продвигала империю по пути модернизации. Обнажились все слабости авторитарной системы. Наследник Иосифа — его брат Леопольд II под давлением недовольных землевладельцев вынужден был отменить налоговые и оброчные начинания своего предшественника. Не в полной мере удалось провести в жизнь даже положение о личной свободе крестьянина. Например, в Хорватии патент Иосифа фактически не исполнялся, так как не был принят местным парламентом — Сабором [Фрейдзон 2001: 122]. В итоге степень эксплуатации крестьянина оставалась значительно более высокой, чем предполагал Иосиф, а свободный рынок земли и рабочей силы так и не сложился. Крестьяне, правда, получили право наследовать не только купленную ими землю, но и всю прочую, однако это означало не право собственности, а лишь ограничение права помещика совершать произвольное изъятие.

Леопольд был не менее просвещенным монархом, чем его старший брат. До восшествия на престол в Вене он правил Великим герцогством Тосканским, следуя идеям французских физиократов и Монтескье. Любопытно, что при его правлении просвещенный абсолютизм зашел в Тоскане значительно дальше, чем в самой империи. С 1770-х гг. там осуществляли реформы, направленные на расширение свободы торговли и упразднение всех внутренних сборов. Был введен единый таможенный налог на границах, разрешена свободная продажа недвижимости. Сначала во Флоренции, а затем и в других городах упразднили средневековые цеха, упростили налоговую систему [Барг 1994: 361].

Однако то, что можно было сравнительно легко осуществить на территории развитой и просвещенной Италии (тем более в такой культурной ее части, как Флоренция), не так-то легко оказалось внедрить в масштабах многонациональной монархии. После смерти крутого автократа Иосифа выяснилось, что народ не слишком доволен результатами его правления. «Если бы император, как он собирался, “по совести и чести” стал отчитываться перед своими подданными, последние вряд ли одобрили бы его хозяйствование», — заметил русский историк Павел Митрофанов [Митрофанов 2010: 140]. Личные качества двух императоров определили различие их подходов к преобразованиям, осуществлявшимся в столь сложной обстановке. «Иосиф II, этот фанатик государственности и общественного блага, в своей *idée fixe* нашел силы стать выше обычных человеческих страстей и слабостей <...> Не то брат его Леопольд: он был человек в полном смысле этого слова со всеми достоинствами и недостатками, которые привили ему рождение, воспитание, общественное его положение и переживаемые им события» [Митрофанов 1916: 42]. Ум у нового императора был, скорее, критический, нежели творческий. Он мог понимать значение нового, анализировать происходящие в монархии процессы, но создавать что-либо самому, преодолевая вставшие на пути преграды, для него было слишком трудно.

В итоге Леопольд, с одной стороны, значительно более тонкий и осмотрительный, чем его старший брат, а с другой — мягкий, уступчивый и тактичный, не имевший ни смелости, ни энергии Иосифа, предпочитавший ладить со всеми, вместо того чтобы вступать в разного рода столкновения, не мог игнорировать те факты, которые общество ему сообщало о последствиях недавних преобразований. А жалобы на эти преобразования сыпались со всех сторон. О многом говорит хотя бы уже одно название жалобы, присланной новому императору жителями Тироля: «О вредном размножении ремесел». Но еще хуже было то, что элиты не считали крестьян, населявших империю, хоть сколько-нибудь годными к свободе и самостоятельности. «По мнению чинов, — отмечал Митрофанов — мужик был естественнейший лентяй и пьяница, глубоко невежественное и совершенно неразвитое создание, которое не понимало своего блага и которым надо было постоянно руководить. Арест и принудительные работы были такому существу нипочем. Лежать ли на боку в плохой избе или сидеть в кутузке не составляло для него никакой разницы, а работать у него вошло в привычку. Такому человеку нечего было терять, и результатом гуманной политики покойного императора было то, что мужик “никого не слушал, кроме окружных начальников”. Чины “умоляли поэтому

всемиловейшего монарха обратить Высочайшее внимание на этот вопрос, восстановить более тесную связь между помещиками и их подданными, усилить влияние первых и пресечь в корне порожденное зло". Они спешили оговориться, что "хотят лишь справедливости", что "ими руководит лишь забота об общем благе" и что они "не стремятся к восстановлению крепостного права"» [Митрофанов 2010: 149–150].

Трудно сказать, насколько верна была подобная характеристика. Скорее всего, она имела под собой реальные основания. Но ведь самостоятельность и сознательное отношение к труду могли сформироваться лишь в условиях свободного предпринимательства, но никак не под покровительством помещика. Влиятельные группы интересов не хотели понимать необходимость свободы для несовершеннового работника. Иосиф был одинок в своем реформаторстве, и не случайно он воспринимал окружающих его людей не как сознательных партнеров, а лишь как рядовых исполнителей монаршей воли. Нежелание идти на реформы простиралось столь далеко, что для сохранения старых традиций придумывались совершенно курьезные оправдания. Вот что писал, например, Митрофанов о нежелании помещиков расставаться с имевшейся у них монополией на производство и продажу алкоголя. «Трудно было прикрыть гуманными и философскими соображениями привилегию на спивание народа, но чины нашлись и тут. Они стремились уверить правительство, что мужик, продавая свое вино по мелочам, на пустяки истратит полученные деньги, которые не принесут ему никакой пользы в хозяйстве, а возможность пить где угодно, хотя бы в доме у соседа, даже в долг, приведет к тому, что он незаметно запутается и сопьется, от чего пострадает и даже совсем пропадет нравственность целых поколений [Там же: 150]. В общем, «чины» заботились о духовных скрепах народа, что совпадало с заботой об их собственных интересах.

Леопольд, еще сидя в своей тихой Флоренции понимал, с какими серьезными проблемами может столкнуться, перебравшись в Вену. Когда Иосиф перед смертью предлагал брату стать соправителем, тот тянул время, мялся, находил предлоги для того, чтобы не идти навстречу желанию императора. Но после его кончины вынужден был взойти на имперский трон. А оказавшись там, он пошел на уступки. Возможно, предполагалось, что они будут временными, но через два года Леопольд скончался, и в итоге главные экономические проблемы империи остались не решены. В аграрной сфере так и не появилось нормальной частной собственности, при которой земледелец и землевладелец разрываю

Леопольду наследовал его старший сын Франц («убогий Франц», как называл его Наполеон) — наименее одаренный из детей императора. Среди его братьев были и талантливый полководец Карл, и энергичный хозяйственник Иосиф, и известный естествоиспытатель Иоганн, отличавшийся наиболее либеральным мировоззрением, но они не имели прав на престол [Попов 1996: 261]. Франц предпочитал заниматься тысячами бюрократических мелочей, а не масштабными преобразованиями, которые любил его дядя Иосиф. Он страшно боялся роста революционно настроенного пролетариата и поэтому препятствовал развитию предприятий. «Франц ненавидел промышленность <...> Охотнее всего он закрыл бы все фабрики, и только тихое сопротивление тесно связанной с фабрикантами и финансистами бюрократии препятствовало ему осуществить этот любимый план» [Пах 1952: 81]. Еще более своеобразными были его взгляды на развитие системы коммуникаций. Когда императору представили план развития железных дорог, он взял его в руки с откровенным отвращением, заявив: «Нет, нет. Я ничего не буду делать в данном направлении. Как бы по этим дорогам к нам не пришла революция» [Jászai 1929: 80]. Франц радовался тому, что народы его империи разобщены, ненавидят друг друга и не могут подхватить одну и ту же революционную болезнь одновременно. Из ненависти, как он полагал, рождаются порядок и мир [Там же: 82].

Франца называли порой тигром в ночном халате [Там же: 84]. Если Иосиф был нетерпим к несовершенству, то Франц охотно с ним мирился, откладывая любые реформы на неопределенное время. Австрийский император, как и многие другие вялые государственные деятели разных стран, жившие до него и после, полагал, что преобразования должны начинаться лишь тогда, когда в стране уже все хорошо. «Сейчас не время для реформ, — заявлял он в 1831 г. — Народ страдает от тяжелых ран, и мы не можем бередить эти раны» [Macartney 1978: 27, 55]. Естественно, Франц, как и все прочие сторонники подобной точки зрения, так и не дождался прихода идеальных условий в своей империи. Но это не очень его огорчало. «“На мой век и век Меттерниха ее хватит”, — говорил кайзер» [Попов 1996: 264], фактически повторяя слова Людовика XV «поле нас хоть потоп».

Однажды врач, осматривавший простудившегося монарха, сказал ему, что опасаться нечего, поскольку конституция у кайзера хорошая. Франц тут же вспылил: «Не произносите этого слова. У меня нет конституции и никогда не будет» [McGuigan 1966: 312]. При таком императоре страна надолго застыла в условиях оставшейся от Иосифа II половинча-

той реформы. Даже поражения, понесенные от Наполеона, не заставили австрийцев (в отличие от пруссаков) сдвинуться с мертвой точки. Хотя реформы Иосифа несколько изменили страну, ценности, лежавшие в основе действий старой австрийской аристократии, новой государственной бюрократии и венской буржуазии, были в основном старыми, квазифеодальными [Gross 1973: 251]. Требовалось сохранять державу, в которой все больше и больше отдельные этнические группы подданных начинали ощущать себя новыми нациями. Надо было поддерживать стандарты потребления, поскольку это определяло государственный престиж. Надо было воспрепятствовать опасным революционным настроениям. Тут уж правителям империи оказалось не до модернизации. «Мы можем ждать», — таким стал девиз австрийской бюрократии [Johnston 1972: 48].

При этом австрийская буржуазия была слаба и не способна проталкивать реформы, необходимые для ускорения рыночного развития. Как некогда в дореволюционной Франции [Травин 2019: 13], буржуа здесь являлся человеком второго сорта. Если во Франции к началу XIX века положение дел изменилось, то в Австрии образцом жизненного успеха по-прежнему считалось превращение из буржуа в дворянина. Недаром здесь говорили, что настоящий человек начинается с барона [Jászi 1929: 153]. А поскольку чиновники к концу своей деятельности могли быть награждены титулом, престижным делом в империи Габсбургов считалось не занятие бизнесом, а государственная служба. Не только в аграрных районах Венгрии или Галиции, но даже в сравнительно успешных областях, таких как Австрия или Богемия, буржуазия существовала в атмосфере, лишавшей ее самостоятельности и осознания важности буржуазного образа жизни как такового. У нее не было собственных целей и собственных организаций. То, что в Австрии было принято впоследствии именовать либерализмом, представляло собой некий дух, внесенный, скорее, отдельными представителями аристократии и интеллектуалами, знакомыми с господствовавшими за рубежом идеями, а не тем классом, который, казалось бы, должен его породить. От либерализма брали в основном внешние атрибуты и риторические формулы, но не его суть. Никаких серьезных контактов с народной средой либерализм не имел [Там же: 171]. Любимую фразу всех русских мыслителей об отрыве интеллигенции от народа вполне можно было бы применить к интеллектуальной атмосфере Габсбургской державы первой половины XIX века.

Еще одним фактором, ограничивавшим распространение либерализма, был фактор национальный. Если можно было говорить о связи какой-то части мелкой и средней буржуазии с либеральной идеологией, то в ос-

новном применительно к еврейской среде. Такое положение дел больше способствовало развитию антисемитизма, чем проникновению в массы представлений о важности свободы. Причем для Габсбургской империи проводимая антисемитами мысль о связи либерализма с одним лишь еврейством играла даже большую роль, чем для Германии, поскольку доля еврейского населения здесь была выше.

То, что буржуазия не готова была отстаивать либеральные ценности, проявилось при обсуждении проблем, связанных со свободой торговли. Характерной является дискуссия начала 1840-х гг. о возможном вхождении в Германский таможенный союз. Лишь в наиболее развитых чешских землях оказалось много сторонников этой идеи. Но в целом и аристократия, и буржуазия империи опасались усиления конкуренции [Gross 1973: 252]. Бюрократия, поддерживаемая лишь владельцами наиболее крупных концернов, склонялась к Таможенному союзу, да и то ее цели были, скорее, внешнеполитическими, а не экономическими [Judson 1996: 23].

Анекдотичный случай со строительством первой австрийской железной дороги (от Линца до Будеёвице) демонстрирует возможности имперской буржуазии первой половины XIX века. К 1828 г. реальные расходы превысили смету, деньги быстро кончились, и новых средств мобилизовать не удалось. Строительство было упрощено настолько, что дорога оказалась непригодной для быстро движущихся составов. В итоге до конца 1860-х гг. там вместо паровозов использовалась... конная тяга [Gross 1973: 253]. Подобного примера своеобразной «предприимчивости» не найти, пожалуй, даже в российской экономической истории.

В 1838 г. была предпринята другая попытка строительства. Соломон Ротшильд с помощью Меттерниха, одалживавшего у него деньги и потому находившегося в некоторой зависимости, приобрел концессию на сооружение железной дороги имени кайзера Фердинанда. Было создано акционерное общество, но вскоре курс акций упал, и Ротшильд предпочел продать свою долю. В итоге правительству пришлось за свой счет спасти честь кайзера Фердинанда [Rudolf 1976: 93].

Нельзя сказать, что ведущие государственные деятели того времени совсем не понимали необходимости модернизации. Проблема состояла, скорее, в другом. Монархия была настолько устаревшей и прогнившей, что не находилось сил, готовых взять на себя смелость осуществления переустройства в ситуации, когда можно было легко оказаться засыпанным обломками внезапно рухнувшего здания. Сам Меттерних отмечал в 1828 г.: «Мне суждено жить в отвратительное время. Я трачу свои дни на то, чтобы подпирать гнилые постройки» [История XIX века 1938: 96].

Начало радикальных перемен стимулировалось революцией 1848 г. Несмотря на то что в Вене она была быстро подавлена, в марте 1849 г. было принято решение о земельной реформе. Барщина, все оброчные и натуральные повинности были отменены. Землевладелец имел право получить компенсацию в виде капитала, равного тому доходу, который был бы ему обеспечен эксплуатацией крестьянина на протяжении 20 лет. Треть этой суммы должен был выплатить сам крестьянин, треть — ложилась на провинциальные власти, треть — на государственный бюджет. Выплаты по этой последней трети на практике аннулировались, так как засчитывались в качестве погашения налоговых платежей, причитавшихся с землевладельца [Полтавский 1992б: 58]. Аграрная реформа в Венгрии прошла в целом по такой же схеме, как и в Австрии, хотя механизм платежей был построен несколько иначе, а патент, подтвердивший революционные решения, появился лишь в 1853 г. Вся государственная компенсация была оформлена в ценные (пятипроцентные) бумаги, которые должны были погашаться в течение 40 лет. Крестьянские платежи тоже растянули на такой же срок [Gross 1973: 255].

В Австро-Венгрии начал формироваться широкий слой свободного крестьянства, хотя экономическое развитие мелкого хозяйства осложнялось необходимостью выкупа. Тем не менее австрийским крестьянам, в отличие от прусских, удалось все же в основном сохранить свои наделы [Костюшко 1994: 133]. В той мере, в какой крестьяне теряли землю, они превращались в наемных работников. К началу XX века батраками стало чуть более трети аграрного населения Венгрии и Богемии, а также чуть менее трети аграрного населения Австрии [Berend, Ranki 1974: 32–48].

Таким образом, к тому моменту, когда вопрос об отмене крепостного права стали непосредственно решать в России, он был решен уже в Пруссии и Австро-Венгрии, причем, несмотря на некоторое различие механизмов земельной реформы, в обоих случаях земля делилась между помещиками и крестьянами.

### **«Заставить черемис и остяков размышлять и умствовать»**

В известном смысле можно сказать, что современная Россия начинается с Елизаветы Петровны, которая запретила держать в Москве и Петербурге (но не в других городах) медведей, «а кто к оному охотник, держали бы в деревнях своих, и по ночам бы не водили» [Соловьев 1993:

104]. С тех пор у нас медведи по улицам «в столицах» не ходят. Но если без шуток, то двадцатилетнее правление Елизаветы отличалось естественным для дочери Петра консерватизмом. Государыня ориентировалась в своей политике на наследие великого отца, но не могла, да, пожалуй, и не желала, создавать что-то принципиально новое [Анисимов 2005: 139]. Единственной ее реформаторской мерой стало уничтожение внутренних таможен, но к снижению фискального бремени оно не привело, поскольку одновременно увеличили пошлины в портовых и пограничных городах [Соловьев 1993: 170–171].

Движение к свободе в России началось с манифеста о вольности дворянской Петра III. О праве дворян «службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают» новый государь заявил в январе 1762 г. — меньше чем через месяц после кончины императрицы Елизаветы Петровны. А сам документ появился в феврале. Дворяне получили право не только выходить в отставку, но и беспрепятственно отправляться за границу для службы иному государю [Соловьев 1994а: 12]. В долгосрочной перспективе вольность, подтвержденная Екатериной II в 1785 г. в «Жалованной грамоте дворянству» [Мадариага 2002: 471], имела, бесспорно, огромное значение для развития страны, для формирования образованной и независимой элиты российского общества, способной проявить себя в экономике, политике, культуре.

Но интересно, что столь радикальный документ был подготовлен очень быстро, не вызвал в обществе практически никаких споров, никаких политических столкновений и противостояния групп интересов. Он был воспринят как должное. И Екатерина, взойдя впоследствии на престол, также полностью восприняла идею вольности дворянской, несмотря на то что формально считалось, будто она спасет Россию от ужасов недолгого правления ее незадачливого супруга. Наверное, столь спокойное прохождение важнейшего преобразования представляет собой единственный случай в истории российских реформ. С одной стороны, объяснить это можно, наверное, тем, что Петр и Екатерина, принадлежавшие к свободолубивому поколению Адама Смита, Иммануила Канта, Жака Тюрго, приехали в юности с Запада и подобную вольность считали совершенно естественной вещью, которая лишь в силу специфичности российского социального устройства до сих пор у нас не позволялась. С другой же стороны, в России все влиятельные группы интересов готовы были принять вольность, которая никому никакого вреда не приносила.

Любопытно, что Дмитрий Волков, непосредственно готовивший реформу, даже не упоминал ее в числе своих главных государственных тру-



дов в отличие от решений о монастырских вотчинах, о Тайной канцелярии и о коммерции. А если говорить о том, что больше всего заботило дворянство в то время, так это опять же была не вольность, а освобождение от телесных наказаний (все та же проблема Тайной канцелярии) и уничтожение системы конфискации имущества, при которой средств к существованию лишалась вся семья осужденного, а не только сам преступник [Соловьев 1994а: 14–15]. Эти вопросы действительно были непростыми, т. е. вызывавшими противостояние групп интересов, выигрывавших и проигрывавших от того или иного решения. Например, изъятие в пользу государства монастырских земель наносило удар по Церкви, но способствовало укреплению государственных финансов [Там же: 63–64]. Конфискация имущества преступников также помогала обогащению казны, но вызывала возмущение множества людей, служивших опорой престола. Ведь конфискации запросто мог подвергнуться любой чиновник за мелкое нарушение [Мадариага 2002: 103]. Поэтому в таких вопросах разные интересы сталкивались по-настоящему. И то, что пытки наконец отменили, многих радовало, а то, что проблему конфискации не решили [Соловьев 1994а: 15], сильно огорчало. При этом вольность дворянская стала лишь приятным подарком для тех, кто не хотел служить, но для большей части сословия она не имела принципиального значения.

Принудительная дворянская служба требовалась в то время, когда государство за нее расплачивалось землей. Получив свой надел «авансом», помещик имел бы без «принудилки» возможность «закосить» от службы, которая была ему не особо интересна. Однако со временем ситуация поменялась: финансовое положение государства улучшилось, и денежное вознаграждение за службу стало значительно более важным для дворянина мотиватором, чем административное принуждение. Выслужившиеся при Петре I офицеры «из низов» вообще не смогли бы служить, если бы не получали жалованья. Да и «верхи» при плохом хозяйствовании жили скорее за счет службы, чем за счет имения<sup>5</sup>. Кроме того, появился такой важный мотиватор, как карьера. Она имела большое значение для дворянства на Западе, и постепенно эта западная традиция привилась в России. Дворянин хотел продвигаться по служебной лестнице, зарабатывать себе не только деньги, но также чины, ордена,

---

<sup>5</sup> По оценке Бориса Миронова, реальное жалованье чиновников и офицеров снижалось в последней трети XVIII века, но с 1810-х гг. начало расти [Миронов 2015б: 267].

титулы, репутацию. Дворянская честь для мотивации стала иметь не меньшее значение, чем помещичье землевладение.

Мы иногда рассуждаем о XVIII столетии с позиций XXI века, полагая, что вольность дворянская должна была бы стимулировать структурные трансформации: переход образованной части общества с госслужбы в бизнес, что способствовало бы развитию экономики. Однако этот фактор развития, бесспорно значимый для нашего времени, не мог играть такую же роль в прошлом. Возможности для бизнеса были небольшие, и дворянину гораздо проще было делать традиционную карьеру с помощью государства, чем пускаться в «неведомые волны» на манер английских джентри<sup>6</sup>. В XVIII веке практически все континентальное дворянство (особенно прусское) вело себя, в отличие от английского, довольно консервативно. Какая-то часть, конечно, использовала свободу для совершенствования управления своим имением, но для подавляющего большинства как раз служба государю стояла на первом месте, а альтернативные виды деятельности мало привлекали.

Таким образом, ко второй половине XVIII века в России уже не было проблемы нехватки квалифицированных кадров для государственной службы. Или, точнее, поскольку хороших кадров, конечно же, всегда недостает, на первый план вместо задачи «поставки» офицеров в армию любой ценой выходила задача построения качественной бюрократии (в том числе военной). Формировать такую бюрократию можно лишь с помощью материальных и моральных стимулов, а не с помощью административного принуждения к службе. Мотивированный простолудин будет лучшим офицером или чиновником, чем немотивированный дворянский недоросль. Поэтому, несмотря на то что часть дворян, приобретя вольность, отправилась к себе в поместья [Мадариага 2002: 152], армейская и гражданская государственные службы имели возможность пополняться перспективными кадрами<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> К 1830–1840 гг. доля дворянских фабрик в России составляла, по разным оценкам, лишь от 5 до 15 %, да и те часто работали за счет госзаказа, т. е. на казну [Туган-Барановский 1997: 148, 157].

<sup>7</sup> Лишь со сменой нескольких поколений и существенной трансформацией дворянской культуры численность неслуживших поместных дворян стала значительной: 48 % в 1840-х гг. При этом «новое дворянство», получившее свой статус за государственную службу, составило к середине XIX века 59 % [Миронов 2014: 359, 449]. Таким образом, можно сказать, что армия и бюрократия регулярно подпитывались «со стороны» и утратили былую зависимость от дворянской службы.

Получается, что вольность дворянская в краткосрочном плане не могла качественно изменить положение дел в России. Какая-то часть общества от нее выиграла. Практически никто не проиграл. А для многих это не имело особого значения. Поэтому данная реформа, которая при взгляде из нашего времени представляется наиважнейшей, во второй половине XVIII века прошла без острых споров, не породив таких конфликтующих групп интересов, которые всегда возникают при радикальных преобразованиях. Любопытно, что известный консерватор князь Михаил Щербатов, рассказывая о том, как появился сей манифест, превратил историю его возникновения в анекдот. В его размышлениях «О повреждении нравов в России» говорится, что царь Петр III, являющийся наглядным примером дурных нравов, желавший всю ночь веселиться с княжной Куракиной, сказал своей фаворитке графине Воронцовой, что будет, мол, трудиться над важными документами. А затем попросил своего секретаря Д. Волкова к завтрашнему дню какое-нибудь важное узаконение написать. Волкова заперли в комнате с датской собакой, и тот, вспомнив, как граф Роман Воронцов просил государя о вольности дворянской, сотворил манифест на эту тему [Щербатов 1985: 77–78]. Сегодня нет оснований верить Щербатову на слово, но это и не нужно при обсуждении проблемы, которая нас интересует. Раз князь предложил в своей книге столь фривольную трактовку столь серьезного вопроса, значит в его время данный вопрос не выглядел таким уж серьезным и допускал шутивное изложение. Если бы дело обстояло иначе, читатель вряд ли воспринял бы другие рассуждения князя всерьез.

Петр III своим манифестом формально привел положение дел в России к тому состоянию, которое существовало в той части Европы, что расположена к востоку от Эльбы: дворянство свободно, крестьянство закрепощено. Но, по сути дела, наша страна и раньше жила такой же жизнью, как весь этот регион, существенно отличавшийся по ряду экономических параметров от Западной Европы. Дворянство служило, крестьянство пахало, купцы торговали продуктами земледелия, города были слабыми, промышленность находилась в зачаточном состоянии. Современным любителям принципиально отделять Россию от Европы следовало бы, скорее, проводить границу между двумя «мирами» по Эльбе.

Сблизило Россию с восточной частью Европы и принятое при Петре III решение о свободном вывозе хлеба за рубеж [Соловьев 1994а: 22]. В 1763 г. Екатерина вообще ликвидировала коммерческие монополии, которые так нравились Елизавете, а в 1766 г. отменила экспортные пошлины [Коломиец 2001: 179, 183, 201; Мадариага 2002: 744; Туган-

Барановский 1997: 106, 111]. Все это в совокупности, наряду с хозяйственным освоением южных земель и появлением торговых портов на Черном море (после побед, одержанных в русско-турецких войнах), способствовало резкому увеличению доходов от продажи зерна и формированию в России примерно такой же аграрной специализации, какая была характерна для Польши и Пруссии.

Во время длительного царствования Екатерины в России пошли наконец некоторые важные модернизационные процессы, давно уже охватившие европейские страны, однако с трудом пересекавшие границу, разделявшую западное и восточное христианство. Во-первых, стимулировалась массовая немецкая колонизация, которая раньше происходила в Польше, Чехии, Венгрии и Балтии (а после разделов Польши на территории России оказалось еще и большое еврейское население). Во-вторых, стала формироваться система народного образования, которой в других европейских странах активно занимались богатые торговые города, протестантские пасторы, иезуитские колледжи и, наконец, абсолютистские государства. В-третьих, началось создание профессиональной бюрократии (в том числе полиции), получающей за работу жалованье и обязанной (хотя бы теоретически) не брать взятки<sup>8</sup>.

В 1775 г. была предоставлена свобода устройства всякого рода промышленных заведений<sup>9</sup>, и это резко ускорило создание новых фабрик и заводов. Однако в России остро не хватало свободных работников. Дворянские предприниматели могли иметь крепостных рабочих, купцы преимущественно нанимали на свои предприятия оброчных крестьян, которые уходили в город на «отходный промысел», необходимый для того, чтобы расплатиться с баринном [Туган-Барановский 1997: 111–113, 148–149]. Но это все не снимало проблемы. Отсутствие емкого рынка труда обусловило превышение спроса на рабочую силу над предложением. А это повышало уровень оплаты и снижало конкурентоспособность российской экономики.

---

<sup>8</sup> На практике это не удалось. При ревизии томской губернской администрации генерал-губернатор Михаил Сперанский в 1819 г. не нашел ни одного чиновника, не берущего взятку. «Ему пришлось даже вывести дела по взяткам из разряда уголовных и отнести к гражданским делам, распорядившись закрывать их в тех случаях, когда взяточники возвращали деньги» [Томсинов 2006: 321].

<sup>9</sup> Только помещичьи крестьяне этой свободы не получили и занимались предпринимательством под патронажем помещика. Полная свобода заниматься торговлей и промышленной деятельностью при условии покупки патента возникла к середине 1820-х гг. [Миронов 2014: 385; Миронов 2015б: 632].

Главный вопрос, тормозивший развитие России, — крепостничество<sup>10</sup> — матушка Екатерина так и не решила. «До воцарения Екатерины, — отмечала Исабель де Мадариага, — в просвещенном обществе не замечалось никаких признаков, свидетельствующих о том, что хоть кому-нибудь приходила бы в голову мысль об отмене крепостного права [Мадариага 2002: 222]. Но самую молодую Екатерину — немецкую принцессу, читавшую книги французских просветителей, — мысль о недопустимости рабства беспокоила. Великие идеи Запада приходили в столкновение с реальностью Востока, где ей довелось стать государыней.

По всей видимости, во время своей ознакомительной поездки по Лифляндии в 1764 г. Екатерина начала думать о проблеме крепостного права [Там же: 116]. А когда она собрала Уложенную комиссию, вопрос о крепостничестве встал в полный рост. В своем знаменитом «Наказе» (1767 г.), написанном для комиссии, императрица, основываясь на трудах Монтескье и Беккариа, высказала много прогрессивных суждений и отмечала, в частности, что все подданные должны быть подвержены одним и тем же законам, а также что власти должны избегать случаев, приводящих людей в неволю. При этом в подготовительных материалах к «Наказу» Екатерина высказывалась конкретнее о способах освобождения крестьян, но, предчувствуя, очевидно, настроения членов комиссии, в итоговый документ их не включила [Там же: 258, 261–262]. Создается даже впечатление, что она в своем «Наказе» не столько предлагала Уложенной комиссии всерьез рассмотреть наболевший вопрос о недопустимости рабства, сколько возражала «кому-то, кто хотел решить проблему крепостничества радикально» [Каменский 1992: 171].

Даже расплывчатые суждения о воле и неволе, оставшиеся в «Наказе», не получили в деятельности комиссии никакого развития. Дворяне энергично обсуждали вопросы о наделении себя любимых новыми правами и о сохранении прав старых, но не о самоограничении хоть в чем-то [Соловьев 1994б: 81–93]. По сути дела, их настрой немногим отличался от позиции депутатов от «самоедов», заявивших, что «они люди простые, не нуждаются в уложении, только бы запретили их русским

---

<sup>10</sup> Примерно половина крестьян в России были не помещичьими, а государственными, но это не снимало проблемы. Как отмечал в свое время Сперанский, «земские исправники суть тоже помещики, с той токмо разностью, что они переменяются и что на них есть некоторые способы к управе; но взамен того сии трехлетние владельцы не имеют никаких побуждений беречь крестьян, коих они ни себе, ни потомству своему не прочат» [цит. по Дунаева 2010: 41–42].

соседям и начальникам притеснять их, больше им ничего не нужно» [Ключевский 1989: 92].

Познакомившись наконец с истинными настроениями господствующего сословия, Екатерина обнаружила вдруг, что «не было и двадцати человек, которые по этому вопросу мыслили бы гуманно и как люди. <...> Мало людей в России даже подозревали, что для слуг существовало другое состояние, кроме рабства» [Екатерина II 1907: 175]. Когда Вольное экономическое общество (ВЭО) с подачи государыни объявило конкурс работ о проблеме земельной собственности и об имущественных правах крестьянства, лишь 7 из 160 сочинений написали российские авторы. Причем в них даже не ставился вопрос об отмене крепостничества, а в лучшем случае предлагалось защитить права крестьянина на пользование землей, на фиксированный размер повинностей и на независимый суд с помещиком в спорных случаях [Мадариага 2002: 225–226].

Князь Щербатов — один из наиболее сильных консервативных спикеров Уложенной комиссии — прямо заявлял в ходе прений, что даже добровольно помещик не должен давать крестьянам свободу, поскольку никто лучше хозяина не сможет о них позаботиться. Робкие попытки отдельных лиц возразить Щербатову решительно пресекались председательствующим [Там же: 290–291]. А поэт Александр Сумароков в своей записке для ВЭО даже не утруждал себя никакими аргументами: «Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит» [цит. по Соловьев 1994б: 97]. По оценке великого русского историка Сергея Соловьева, в России должны были еще целый век формироваться представления о том, что рабство — это признак варварского общества, что подобное состояние крестьянства оскорбительно для людей, имеющих притязания на образованность, что честь и слава дворянства требуют не бить и угнетать людей, а вести себя прямо противоположным образом [Там же: 93].

Михаил Сперанский иронично и даже зло прокомментировал историю с Уложенной комиссией: «Государыня Екатерина Вторая, пленясь понятиями философов, в то время в великой славе и во всей свежести бывших, вообразила народ российский довольно совершенным, чтоб допустить его к великому делу законодательства — хотела заставить черемис и остяков размышлять и умствовать. Но что произвели сии в цепях законодатели? Прочитайте их журналы» [цит. по Каменский 1992: 208].

Надо заметить, правда, что ирония Сперанского не вполне справедлива в отношении нравов 1760-х гг. В то время, как мы знаем, не только

у «черемис и остяков», но также у пруссаков, поляков и народов империи Габсбургов сохранялось крепостное право. «Рабское состояние» было нормальным состоянием, одним из возможных вариантов существования даже для обществ, считавших себя цивилизованными. И российское общество не могло чувствовать себя отсталым из-за такой «мелочи». Екатерина хотела сделать как лучше, а подданные хотели, чтобы все оставалось как всегда. Неудивительно, что «государыня черемис и остяков» отказалась от мысли о свободе крестьянства. Императрица ведь с юности умела адаптироваться к реальным обстоятельствам, поскольку ей приходилось жить при дворе Елизаветы Петровны, где Екатерину не слишком жаловали. А печальная история быстрой утраты популярности Петром III показала ей, насколько опасно идти наперекор традициям и привычкам влиятельных российских кругов, даже если ты являешься государем. Отдельные вспышки недовольства в гвардии (на рубеже 1760–1770-х гг.), вызванные слухами о возможном освобождении крестьян [Мадариана 2002: 411–412], наводили на мысль о верности поговорки «Не тронь лиха, пока спит тихо». Внимательный С. Соловьев справедливо отметил, что гордый и высокомерный тон у Екатерины чувствовался лишь во внешней политике, «во-первых, потому, что здесь нет личной опасности, во-вторых, потому, что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным» [Соловьев 1994а: 129]. Любопытно, что нечто похожее происходит в России и при нынешнем правлении.

В общем, познакомившись с нравами своих подданных, императрица отбросила «западнические» иллюзии и стала править в соответствии с обстоятельствами. Тем более подоспела большая война, оказавшаяся настолько увлекательным делом, что Екатерина целиком погрузилась в армейские и дипломатические проблемы. Победы над турками принесли ей славу и народную любовь. А в промежутках между трудами праведными была еще и любовь многочисленных фаворитов. Правление Россией оказалось настолько комфортным, что лишь очень мужественный и убежденный в своих идеях человек мог бы продолжить непопулярную борьбу с «рабством». Прагматичная, рационально мыслящая и далекая от всякого фанатизма Екатерина Алексеевна не была, конечно же, таким человеком. Единственным ее достижением в реформировании крепостнической системы стал указ 1775 г., в соответствии с которым отпущенного на волю крестьянина уже нельзя было вновь закабалить [Там же: 430]. При этом в Малороссии в 1783 г. был запрещен переход крестьянина от помещика к другому хозяину, что усилило крепостниче-

ский характер экономики [Там же: 500]. И около миллиона «душ» Екатерина передала от государства в частные руки за время своего царствования [Ключевский 1989: 129].

«Царствование Екатерины, — отмечал американский историк Джеймс Биллингтон, — являет собой драматическую иллюстрацию конфликта между просвещением в теории и деспотизмом на практике; конфликта, характерного для столь многих европейских монархов XVIII столетия» [Биллингтон 2001: 265–266]. А русский историк Василий Ключевский высказался проще: «В ее деятельности больше эффекта, блеска, чем величия, творчества» [Ключевский 1989: 30]. От Екатерины «шли идеи, незнакомые русскому обществу, но под покровом этих идей развивались и закреплялись старые факты нашей истории» [Там же: 117].

Государыня еще долго продолжала обустривать свое государство, совершенствуя шаткий механизм управления и вдаваясь даже в такие детали, как различия конных экипажей, в которых разрешается ездить купцам первой, второй и третьей гильдий [Там же: 480]. Но за по-настоящему опасные дела Екатерина уже не бралась. Даже на 26-й год своего правления она заявляла: «Не время теперь делать реформы» [Там же: 489]. При этом экономика России перенапрягалась от возложенного на нее огромного военного бремени. Покидала сей мир «матушка», оставляя страну с возросшим налоговым бременем<sup>11</sup>, с большим государственным долгом, с незащищенной от произвола собственностью и с обесценивающимися бумажными ассигнациями, «изобретенными» для того, чтобы затыкать бюджетные дыры [Чечулин 1906: 140, 318, 362; Коломиец 2001: 212–213; Тимофеев 2011: 166–167].

Для сравнения заметим, что в XXI веке мы видели, насколько легко Владимир Путин отказался от реформаторских идей, как только добился славы защитника отечества во второй чеченской войне и обрел возможность повышать уровень жизни народа за счет нефтедолларов, полученных благодаря хорошей рыночной конъюнктуре. Аналогия с Екатериной здесь, конечно, весьма условна, но все же современная история позволяет нам лучше понять психологию любого правителя.

---

<sup>11</sup> В науке существует, правда, мнение, что с учетом инфляции, обесценивавшей налоги, в целом фискальное бремя с петровских по екатерининские времена не выросло [Мадариага 2002: 770–771].



## «Потешный» рационализм

Представления о необходимых России преобразованиях, сформировавшиеся как у сына Екатерины Павла I, так и у внука — Александра I, во многом определялись обстоятельствами, сложившимися за долгие годы правления императрицы. Однако обстоятельства эти были совершенно разными для Павла Петровича и для Александра Павловича. Если сын, формируя свое мировоззрение, реагировал, скорее, на конфликт с матерью, то внук — на объективно проявившиеся в екатерининскую эпоху черты российского общества.

Павел I, пожалуй, хорошо себя чувствовал бы в XVII веке. Создается впечатление, что он сильно запоздал с появлением на свет. Это было в полной мере дитя эпохи рационализма, когда великие умы полагали, что всё в жизни можно четко рассчитать, распланировать и затем выполнить в соответствии с высочайшими указаниями. Еще в своем юношеском «Рассуждении о государстве...» (1774 г.) Павел предлагал «ввести строгую регламентацию в военном деле и для этого дать войскам подробнейшие штаты, уставы, инструкции и “предписать всем, начиная с фельдмаршала, кончая рядовым, все то, что должно им делать; тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено”. Введением строжайшей подчиненности, по мнению Павла Петровича, была бы достигнута цель, чтобы “никто от фельдмаршала до солдата не мог извиниться недоразумением, начиная о мундирных вещах, кончая о строе”» [Шильдер 1901: 97–98]. А эта централизация власти, в свою очередь, нужна была для обеспечения «блаженства всех и каждого» [Эйдельман 1992: 57]. В единый «солдатский строй» должны были встраиваться помещики, крестьяне, купцы, чиновники. Наследник, бесспорно, хотел как лучше...

Наверное, 20-летний молодой человек, склонный к отвлеченным размышлениям и плохо знающий реальную жизнь, может думать, будто инструкциями и взысканиями обустроивается государство. Тем более что в эту эпоху создавалась российская бюрократия и штаты с уставами были, наверное, у всех на слуху. Однако к 40 годам человек должен уже понимать, что существует множество вещей, не вписывающихся в уставы, и что такое понятие, как «свобода», имеет не меньшее значение, чем понятие «государство». Увы, Павел Петрович, сильно засидевшийся в наследниках, отстраненный матерью от участия в управлении державой (а в перспективе, как были основания полагать, он мог быть отстранен даже от царствования) и затаивший на нее обиду, не столько учился

жизни, сколько, сидя в любимой Гатчине, с «лихорадочным нетерпением» [Шильдер 1901: 187] ждал возможности на деле реализовать свои «гениальные» юношеские идеи. Новый император был явно неглуп, хорошо образован [Там же: 238] и в иной ситуации оказался бы, наверное, способен к эффективной работе. Но он развивался несколько однобоко, перестал совершенствовать природные способности, а потому сильно отстал от жизни. Ему, по всей видимости, хотелось жить по твердым, жестким принципам своего великого прадеда Петра I (плохо осмысленным и сильно искаженным воображением), а не по методам нелюбимой матушки, постоянно приспособливавшейся к текущим социально-политическим обстоятельствам.

Павел строил свои потешные гатчинские войска в соответствии с принципами доведенного до крайности рационализма и попытался, придя наконец к власти в 1796 г., сделать из игрушечной России настоящую. «Седые с георгиевскими звездами военачальники, — вспоминал современник, — учились маршировать, равняться, салютовать эспантоном» [Там же: 294]. Понятно, что подобное видение истинного порядка не предполагало отмены крепостного права или какого-то иного продвижения к свободе. Рационализм далекого прошлого в принципе не сочетался с таким «беспорядком», как освобождение населения от его обязанностей. Павел мог проявлять гуманизм, освобождая узников екатерининского царствования, но в целом доброе правление для него сводилось не к воле, а к дисциплине.

Историк Натан Эйдельман полагал, что у наследника Павла Петровича имелась симпатия к конституционным проектам своего наставника Никиты Панина. Но Эйдельман отмечает, что они могли существовать лишь до Великой французской революции [Эйдельман 1992: 43]. Бунт, который разрушил «старый порядок» во Франции, разрушил и возможные иллюзии российского цесаревича.

Павла I погубило то, что он выпал из своего времени. «Многое из того, что делалось главой государства в конце 1790-х годов, — справедливо заметил Эйдельман, — показалось бы дворянству нормальным или исторически неизбежным на полвека ранее. Однако с тех пор выросло уже по меньшей мере два “непоротых” дворянских поколения» [Там же: 94]. Россия стала другой, и павловский режим рухнул.

Если в XVII веке даже прогрессивно мыслящее боярство с трудом воспринимало идущие с Запада новшества из-за ментальной атмосферы, жестко разделявшей православных с «латынскими еретиками» [Травин 2017: 52–53], то после Петра возможности заимствований оказались

иными. С одной стороны, Церковь, ставшая значительно менее сильной и авторитетной организацией, перестала влиять на умы так, как влияла столетием раньше. Русский дворянин мог при желании учиться у «еретиков» без печальных для себя последствий. С другой стороны, желание это проявлялось все чаще у «птенцов гнезда Петрова», а затем и их юных птенчиков, поскольку оно оказалось побочным результатом петровской идеи заимствований в военно-технической и «мундирно-табачной» сферах. Если образцами для подражания могли служить голландские корабли, английская торговля, шведская армия, французские финансы и прусская дисциплина, то «в пакете» российское дворянство вполне могло при желании прихватить с Запада и свободы. Вначале они не многим были нужны, но важен в данном случае сам факт того, что прогрессивно мыслящий русский человек вполне мог наполнять свою голову свободомыслием.

Просвещение медленно, но неуклонно меняло общество, формировало новые поколения. Наследник престола, Александр Павлович, это хорошо понимал. Во время царствования Павла Петровича он планировал организовать большую программу переводов западных книг для распространения знаний и подготовки России к реформам своего будущего правления [Шильдер 1904а: 164]. Но царствование отца завершилось быстрее, чем удалось начать просвещение, и совершенно внезапно на повестку дня встал вопрос о реформах.

## Младореформаторы

Примерно через полгода после того, как императором стал Александр I (16 октября 1801 г.), его учитель швейцарец Фредерик Лагарп представил докладную записку, в которой дал характеристику групп интересов, способных повлиять на ход возможных преобразований. Большая часть общества, конечно, записывалась им в противники. Но если Екатерина в свое время полагала, что не было и 20 человек, готовых думать о свободах, то Лагарп выделяет прогрессивные группы — «образованное меньшинство дворян, некоторая часть буржуа, “несколько литераторов”, возможно, “младшие офицеры и солдаты”» [Эйдельман 1992: 369–370].

Просвещение общества, смена поколений и появление генерации молодых людей, размышлявших о причинах и последствиях французской революции, сделали свое дело. Образованное меньшинство (типа

грибоедовского героя Чацкого) отвергало теперь не только павловский рационализм позапрошлого столетия, но и суждения «забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма»<sup>12</sup>. Биография адмирала Николая Мордвинова показывает, как возникали люди новой генерации. Мордвинов учился в Англии в середине 1770-х гг., когда там было издано «Богатство народов» Адама Смита. Двадцатилетний юноша с интересом воспринял новое учение и стал его приверженцем. Впоследствии он переписывался с Иеремией Бентамом, чьи идеи также стремился распространять в России [Иконников 1873: 4–5, 73–75]. Другой пример — будущий реформатор Михаил Сперанский, который за границей не учился, но в молодости имел возможность читать Вольтера, Дидро, Лейбница, Кондильяка, Ньютона, Локка и многих других популярных тогда мыслителей [Томсинов 2006: 45]. Третий пример — молодые люди из Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (Иван Пнин, Василий Попугаев). В начале XIX столетия у таких людей появилась возможность объединяться в небольшие кружки для размышлений о просвещении России и ее конституционном устройстве [Валицкий 2012: 42–43].

Сразу после свержения Павла, в беседе Александра со Строгановым было определено, что суть необходимых России преобразований сводится к обеспечению прав гражданина, заключающихся в защите его имущества и в свободе делать все, что не наносит вреда другим. Однако пути достижения цели были для нового государя неясны [Шильдер 1904б: 24]. В итоге император со своими молодыми друзьями стал обсуждать реформы, но характер этого обсуждения принципиально отличался от того, что делала Екатерина в 1760-х гг. Если бабушка вынесла дискуссию об обустройстве страны на суд избранных народом делегатов и сразу оказалась шокирована их консерватизмом, то внук стал строить планы перемен в узком кругу компетентных и прогрессивных соратников, полагающих, что «необходимо начать прежде всего с преобразований в администрации, нежели создавать конституцию в собственном смысле» [Сафонов 1988: 90]. Соратники стремились сохранить самодер-

---

<sup>12</sup> О разрыве поколений мы справедливо судим в основном по грибоедовскому «Горю от ума», где эта проблема является одной из основных. Но, возможно, интереснее даже отметить то, как она подана в пушкинском «Дубровском». Там различаются не столько общие взгляды на жизнь, как у Чацкого и Фамусова, сколько образовательный уровень. Если «старинный русский барин» Кирила Петрович Троекуров не только не читает книг, но даже не говорит по-французски, то Владимир Дубровский говорит на этом языке столь свободно, что легко выдает себя за француза-учителя.

жавную власть царя ради возможности осуществлять решительные преобразования [Там же: 156, 163, 166–167]. Провал екатерининских благих пожеланий настраивал на мысль, что реформы должны исходить не столько от общества, сколько от императора. А поддержку они могут получить в той части общества, которая настроена с государем «на одну волну». Например, даже будущий декабрист Николай Тургенев отмечал, что в свое время «сочувствовал неограниченной власти, защищая необходимость ее для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком» [цит. по Леонтович 1995: 61–62].

Еще при жизни отца Александр Павлович наметил план ликвидации крепостного права посредством серии указов [Сафонов 1988: 62–63]. Но план был не очень реалистичен и нуждался в доработке группой «экспертов». «Реформаторским штабом» стал кружок молодых друзей императора — Николай Новосильцев, князь Адам Чарторыйский, граф Павел Строганов и граф Виктор Кочубей [Там же: 42–49]. На вторых ролях там оказался молодой, неродовитый чиновник Михаил Сперанский, которому поручалась техническая работа по воплощению идей младореформаторов в конкретные преобразовательные проекты [Томсинов 2006: 113].

В этом кругу младореформаторов, как отмечал Чарторыйский, «Строганов был самый пылкий, Новосильцев самый рассудительный, Кочубей самый осторожный, я же самый бескорыстный и старавшийся успокоить чрезмерное нетерпение» [Шильдер 1904б: 47]. Пылкость с рассудительностью следовало сочетать для того, чтобы пройти между Сциллой самодержавия, нарушающего имущественные права и свободы подданных, и Харибдой революции, которая, как видели теперь многие на французском примере, оказывается в какой-то момент хуже самого непросвещенного абсолютизма [Травин, Маргания 2004, кн. 1: 193–228]. Строганов полагал, что опасность в крестьянском деле состоит в отказе от перемен, но император проявлял осторожность, стремясь лишь к улучшению сельского быта «таким образом, чтобы не раздражать помещиков и не волновать крестьян» [Шильдер 1904б: 110].

Ярким проявлением подобной осторожной стратегии стал указ о вольных хлебопашцах (1803 г.), согласно которому помещики имели право (но не были обязаны) отпускать на волю своих крестьян [Там же: 110]. То есть в той мере, в какой у нас формировалось просвещенное дворянство, желающее свобод для всего населения, и в той мере, в какой у крестьянства имелись деньги для выкупа, государь был готов нанести удар по крепостному праву. Но поскольку доля такого дворянства и такого крестьянства в общей массе была невелика, появление вольных

хлебопашцев проблему крепостничества не разрешило. Некоторые помещики — например, декабрист Михаил Лунин [Окунь 1985: 38–44] — указом воспользовались, но их оказалось мало. Более чем за полвека 384 хозяина освободили 250 тыс. человек, причем лишь 17 помещиков сделали это безвозмездно [Дунаева 2010: 67]. Практически никто из известных в либеральном и даже радикально-революционном лагере людей 1840–1850-х гг. не отпустил своих крестьян [Боборыкин 1965: 243].

О прямом противоречии интересов крестьян и дворян в этом вопросе писали авторы той эпохи [Тимофеев 2011: 282–283]. Порой Александр заговаривал с дворянами об отмене крепостного права, но сталкивался с почти неприкрытым сопротивлением, свидетелем чего был, например, князь Сергей Трубецкой [Трубецкой 1988: 25]. Поэтому царю приходилось искать не прямые пути решения проблемы.

Существует мнение, что Александр «правильную» монархию осмыслял как систему «сдержек и противовесов», способных организационно обеспечить авторитарный тип правления и ввести его в законные рамки» [Архангельский 2006: 57]. На деле, однако, авторитаризм плохо сочетается с системой сдержек и противовесов. Если автократ принимает во внимание мнения различных групп интересов, то может осуществить свои реформаторские планы лишь тогда, когда общее соотношение сил в этих группах оказывается для него более-менее благоприятным. Если же оно не слишком благоприятно, то для осуществления коренных преобразований разные «сдержки» приходится разрушать, рискуя при этом получить вдруг очередной гвардейский государственный переворот, сопровождающийся облегченным вздохом «общественности»: слава богу, все опять будет «по старине». Александр Павлович имел, конечно, лучшие исходные условия для решения проблемы крепостного права, нежели его бабушка, однако он не мог не помнить о том, как вооруженные люди решали судьбу России на протяжении почти целого столетия: с возведения на престол Екатерины I до низвержения Павла Петровича.

Реформаторские проекты Сперанского, скорее всего, были до поры до времени интересны императору, надеявшемуся обнаружить в них механизм, позволяющий получить поддержку заинтересованных в реформах групп интересов. Однако при всем значении этих разработок они не способны были сотворить чудо. Сперанский не мог сконструировать такую волшебную модель, при которой государь усиливал бы свои политические позиции даже в том случае, когда шел против основной массы дворянства в решении крепостнической проблемы. Вышло наоборот: реформатор предложил «*деспотическое* по своему содержанию правле-

ние превратить в *истинное* монархическое, при котором, в отличие от первого, власть государя оказалась бы связанной законом» [Томсинов 2006: 171; курсив в оригинале. — Д. Т.]. Неудивительно, что в итоге Сперанский, не оправдавший ожиданий императора, попал в опалу и всякие попытки модернизировать страну были, как и во времена Екатерины, заморожены вплоть до конца текущего царствования. Александр еще успел поэкспериментировать с военными поселениями Аракчеева, но это уже был, скорее, признак отчаяния. Хотя не существует никаких серьезных оснований считать легенду про старца Федора Кузьмича хоть сколько-нибудь соответствующей реальности, можно предположить, что Александр Павлович к 1825 г. испытывал чувство безнадежности и невысоко оценивал итоги своего правления. «Дней Александровых прекрасное начало» обернулось под конец убогой консервативной моделью, и умный воспитанник Лагарпа должен был понимать, что за четверть века он не сумел сделать Россию иной<sup>13</sup>.

Впрочем, четверть века — это смена еще одного поколения. К 1825 г. российское общество вновь немного трансформировалось, и в нем наконец сформировалась критическая масса людей, не только откликающихся на желание императора что-либо реформировать, но и готовых размышлять о свободе вне зависимости от импульсов, идущих сверху. Наиболее образованные и информированные люди знали теперь как об идеях Французской революции, так и о Кодексе Наполеона, о стремлении многих европейцев заимствовать наполеоновские идеи, о начавшейся борьбе Англии с рабством, об отмене крепостного права не только в Габсбургской империи, но и в Пруссии. Пожалуй, можно сказать, что в России впервые формировалось поколение людей, чувствующих культурное отставание страны от соседей. Если в начале XVIII века Петр со своими «птенцами» был обеспокоен лишь военным отставанием, то теперь (после победы над Наполеоном) Россия, наоборот, оказывалась военным лидером Европы, однако мыслящую часть общества это не так уж и радовало. Возникло представление о необходимости перемен, никак не связанное с милитаристскими планами страны.

---

<sup>13</sup> При Александре I было отменено крепостное право в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Крестьяне получали свободу, но лишались права на землю [Мироненко 1990: 67–68]. Однако данная реформа выглядит скорее «побочным продуктом» прусских земельных реформ, на которые ориентировалось немецкое остзейское дворянство, чем первым актом реформ российских.

Именно формирование нового поколения, отличающегося такими представлениями, породило движение декабристов. Если Александр в начале XIX века был истинным центром кружка своих друзей и младореформаторы без него вообще вряд ли сформировали бы какую-то организацию, то декабристы все делали «снизу». При этом они исходили из своих знаний об иностранном государственном устройстве, сложившемся за последние десятилетия. Многие из них получили систематическое образование в Московском университете, Царскосельском лицее или Московской школе колонновожатых — будущей Академии Генштаба [Нечкина 1983: 15]. Но главным было даже не это, а обретение личного опыта в ходе разнообразных заграничных поездок и при чтении книг выдающихся мыслителей<sup>14</sup>. То, что полвека назад знала в России чуть ли не одна Екатерина, теперь стало базой для формирования мировоззрения целого поколения дворян.

Когда у арестованных после восстания декабристов спрашивали, откуда они заимствовали свободный образ мыслей, Николай Бестужев отвечал: «Бытность моя в Голландии 1815 года, в продолжении 5 месяцев, когда там устанавливалось конституционное правление, дала мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских; после того двукратное посещение Франции, вояж в Англию и Испанию утвердили сей образ мысли. Первая же книга, развернувшая во мне желание конституции в моем отечестве, была “О конституции в Англии”. <...> Впрочем, все происшествия последнего времени во всей Европе, все иностранные

---

<sup>14</sup> В Александровскую эпоху издавались переводы Иеремии Бентама и Адама Смита, идеями которого увлекался сам император [Левин 2010: 77]. В различных журналах публиковались тексты Ж.-Б. Сэя, А. Фергюсона, Ж.-Ш. Сисмонди. Организовывались дискуссии вокруг их произведений. Ведущие профессора рассказывали о них студентам [Тимофеев 2011: 156–159]. Интересно, что даже «Санкт-Петербургский журнал» – официальный орган Министерства внутренних дел – проповедовал учение Смита. Авторы журнала именовали его великим человеком, постигнувшим истину, и отмечали, что задачей правительства является лишь обеспечение свободы промышленности. И вообще, фритредерская литература той эпохи, когда происходило становление будущих декабристов, была богаче и разнообразнее протекционистской. Главный русский фритредер Андрей Шторх преподавал даже великим князьям Константину и Николаю Павловичам. Следует заметить, правда, что у многих наших фритредеров симпатии к свободной торговле сочетались с симпатиями к крепостному праву, поскольку они были помещиками, желавшими экспортировать дешевое зерно и импортировать промышленные товары. Похожим образом, кстати, обстояло дело и у американских рабовладельцев, экспортировавших хлопок, сахар, табак [Туган-Барановский 1997: 285, 291, 294–297].



журналы, современные истории и записки, и даже русские журналы и газеты открывали внимательному читателю пользу постановления законов» [цит. по Гордин 1989а: 90–91]. Примерно о том же говорил Петр Каховский, отмечавший значение книг, размышлений и поездки за границу [Там же: 91]. Сергей Волконский рассказывал, как важно для него было пребывание в Париже, Лондоне и в разных местах Германии. Павел Пестель объяснял на примерах из истории Англии, Испании, Франции и Португалии, как сформировался его взгляд на будущее России» [Иосифова 1983: 20, 276]. Александр Тургенев так внимательно изучал парижскую жизнь, что его приняли за шпиона и он должен был оправдываться: «одна любовь к изящному, к пользе России влечет нас всюду, где надеемся найти или наставлений для себя, или обогащение идей, или указание общественных открытий, заведений» [Тургенев 1964: 366]. Парадоксально, что именно воздействие полученного за рубежом опыта оказалось определяющим даже для консерватора Александра Бенкендорфа, который во время пребывания во Франции узнал, как эффективна может быть жандармерия для поддержания политического режима и пресечения бунтов [Гордин 1989а: 72].

Отмена крепостного права представляла собой важнейший элемент разных программ, составленных декабристами. В них имелись существенные отличия — освобождать ли крестьян с землей, без земли или, возможно, оставить решение данного вопроса до созыва Учредительного собрания [Нечкина 1975: 48–50], — но так или иначе «рабство» должно было уйти, поскольку в цивилизованной стране ему не оставалось места. При этом вновь вставал в полный рост вопрос о той форме государственного устройства, которая обеспечит экономические преобразования. Декабристов условно можно разделить на демократов и автократов. Если, скажем, в составленном накануне восстания манифесте князя Сергея Трубецкого говорилось об организации выборов Учредительного собрания [Гордин 1989а: 160–162], то в «Русской правде» Павла Пестеля шла речь о формировании Временного верховного правления, в обязанности которого входило уничтожение рабства. «Если найдется среди дворян такой “изверг”, — отмечал Пестель, — который будет противиться мероприятиям Верховного правления по отмене крепостного права, надо такового злодея безизъятно немедленно взять под стражу и подвергнуть строжайшему наказанию яко врага Отечества и изменника противу первоначального коренного права гражданского» [Нечкина 1983: 78]. Подобная диктатура должна была длиться, по Пестелю, 10–15 лет [Там же: 74], но, скорее всего, она задержалась бы на более долгий срок из-за

понятной нам сегодня сложности решения проблемы. Поскольку Пестель предполагал освобождать крестьян с землей (причем давал им больше, чем затем дали даже Великие реформы Александра II), то требовалось отнимать ее у помещиков [Там же: 80–81], и это формировало бы мощные группы интересов, противостоящие реформам. Острый конфликт становился неизбежен.

«Русская правда» предполагала обеспечить гражданам России всех наций священное право собственности, и одновременно подавлять те «буйные» народы, которые не готовы были жить в буржуазном обществе. Их Пестель намеревался переселить в глубинку, раздробив на малые группы [Там же: 86–87]. Таким образом получалось, что ради обеспечения успешного развития новой свободной России значительная часть населения должна была утратить возможность жить свободно в том месте, где хотелось, и вести тот образ жизни, который был привычен. «Русская правда» демонстрирует, что Пестель хорошо понимал, насколько сложное сочетание интересов (между социальными группами, между этносами, между регионами и т. д.) образует Российскую империю, и готов был использовать авторитарные средства для сглаживания или даже силового разрешения противоречий.

## Великие реформы

Поражение декабристов привело к тому, что вопрос о реформах оказался отложен надолго. Николай I, наследовавший престол после смерти Александра I, на первый взгляд вроде бы проводил политику, прямо противоположную свободолобивому курсу своего старшего брата. Однако расхождение путей этих двух братьев определялось, скорее всего, не столько их личными характерами, сколько объективными обстоятельствами. Если Александр Павлович в момент восшествия на престол надеялся на поддержку значительной части общества, то Николай Павлович общества боялся. Даже той реформаторской его части, которая вместо поддержки преобразований, осуществляемых сверху, вышла вдруг бунтовать на Сенатскую площадь. Новый император понял, насколько шатким может оказаться российский престол в том случае, если влиятельные группы интересов (особенно вооруженные) попробуют его расшатать. Объективно царь вынужден был с первого дня своего царствования опереться на консервативную часть общества, поскольку прогрессивная часть в лице декабристов сделала ставку на его брата Константина.

В 1834 г. Николай признавался, что говорил об отмене крепостного права «со многими из своих сотрудников и ни в одном из них не нашел прямого сочувствия» [Ляшенко 2003: 91]. Шеф николаевской жандармерии Александр Бенкендорф полагал, что не следует спешить с просвещением, поскольку просвещенный народ может поднять руку на своих правителей [Иосифова 1983: 108]. Консерватизм «силовика» Бенкендорфа хорошо известен. Но репутация николаевского министра финансов Егора Канкрин вроде бы неплоха. Финансисты у нас часто считаются либералами. Тем не менее Канкрин отнюдь не стремился к переменам. Он полагал, в частности, что «железные дороги годны лишь на то, чтобы уничтожать капиталы. С его точки зрения, они лишь «усиливают наклонность к ненужному передвижению с места на место» [Лукоянов 2020: 30]. Кроме того, Канкрин был противником акционерного начала и кредитных орудий обращения: «действительная потребность в них явится разве что через тысячелетия» [Там же: 33]. Частные банки, в его понимании, соответствовали не монархическому, а республиканскому образу правления [Левин 2010: 99]. Достопочтенный Егор Францевич полагал, что лучшей моделью производства является «семейная промышленность», где работник поистине счастлив, тогда как фабричная промышленность в Европе порождает нищету. Машины увеличили потребление, не дав людям ни богатств, ни счастья. «Министр финансов Николая I говорит языком Сисмонди или народников нашего времени», — констатировал экономист Михаил Туган-Барановский [Туган-Барановский 1997: 310].

Консерватизм этот вряд ли можно назвать разумным. Не прошло и двух десятилетий с момента кончины Егора Канкрин, как в России по инициативе александровского министра финансов Михаила Рейтерна возник бум строительства железных дорог. Целый ряд магистралей был спроектирован в 1862 г., а с 1867 г. по середину 1870-х гг. началась просто железнодорожная горячка. Одновременно строились заводы для производства рельсов, паровозов и вагонов. Возникали частные банки. Акции и облигации помогали аккумулировать капитал (в том числе иностранный) для масштабных проектов развития коммуникаций, поскольку государство за счет бюджета создавать железные дороги не могло [Лукоянов 2020: 188–195, 257].

Но при таких соратниках, как Бенкендорф и Канкрин, осуществлять преобразования императору оказалось сложно. Сохранялась опасность потерять друзей в одном лагере, не приобретя их в другом. Тем не менее Николай понимал необходимость реформ и, как умел, продолжал их

готовить<sup>15</sup>. В период его царствования этим занимался, в частности, граф Павел Киселев, который ранее смог осуществить реформы в оккупированных Россией Дунайских княжествах, где крестьяне не только перестали быть крепостными, но и приобрели гражданские права. Как писал об итогах этих реформ историк Яков Гордин, «свобода торговли оживила экономическую жизнь, а новая система налогообложения удвоила доходы государства, отягощая податные сословия меньше прежнего» [Гордин 1989б: 59–60]. Реформы Киселева существенно изменили в лучшую сторону положение государственных крестьян в России [Миронов 2015а: 58]. Однако, несмотря на все разработки Киселева, по-прежнему оставалось неясно, как конкретно решить проблему крестьян помещичьих, примирив конфликтующие группы населения. Работа секретных комитетов (в 1846 и 1848 гг. их возглавлял будущий император Александр Николаевич), ни к чему не привела [Ляшенко 2003: 92–94]. И дворяне, и крестьяне, считали землю своей, поэтому при ее разделе неизбежно появлялись проигравшие. А поскольку оптимального варианта, минимизирующего риск, так и не было найдено, Николай предпочитал топтаться на месте.

Самые важные изменения во времена правления Николая происходили все же не в государственном аппарате, а в обществе. В 1830–1840-х гг. оно вновь коренным образом стало меняться, причем в больших масштабах, чем раньше. Как отмечал историк российского либерализма Виктор Леонтович, «это была эпоха, в которую незаметным образом один строй сменялся другим, а именно — крепостной строй строем гражданским» [Леонтович 1995: 152]. Пришло новое поколение людей, значительно лучше своих отцов и дедов знакомое с событиями, происходившими в различных европейских странах. Да и сама Европа к тому времени качественным образом изменилась. В итоге воздействие постепенно утверждавшейся в Европе свободы на Россию стало значительно более сильным, чем раньше.

Выдающийся российский историк и правовед Борис Чичерин лучше всех объяснил суть такого возникшего в новом поколении явления, как

---

<sup>15</sup> При всех отрицательных чертах николаевского режима следует отметить, что происходящие в обществе перемены сильно гуманизировали власть. Восстание декабристов завершилось казнью 5 человек, тогда как, скажем, по итогам стрелецких бунтов 1698 г. было казнено 1166 мятежников, причем Петр I лично рубил им головы [Миронов 2015а: 41–42]. Хотя условия каторги для декабристов были чрезвычайно тяжелыми, явное отличие репрессий XIX века от зверств конца XVII столетия косвенным образом свидетельствует о готовности общества к переменам.

западники. «Никакого общего учения у них не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями: искренно православные и отвергавшие всякую религию, приверженцы метафизики и последователи опыта, социал-демократы и умеренные либералы, поклонники государства и защитники чистого индивидуализма. Всех объединяло одно: уважение к науке и просвещению. И то, и другое очевидно можно было получить только от Запада, а потому сближение с Западом они считали великим и счастливым событием в русской истории» [Чичерин 1929: 223].

Появление такой категории интеллектуалов, как западники, свидетельствовало, что часть общества осознанно и целенаправленно стремится модернизировать Россию по взятому из-за рубежа образцу. К этому времени сформировалась определенная когорта людей, которая получила образование в Германии (как пушкинский «Владимир Ленский с душою прямо геттингенской»), который из «Германии туманной привез учености плоды: вольнолюбивые мечты, дух пылкий и немного странный») и восприняла германскую философию в качестве последнего слова науки. В немецкие университеты юношей выпускали легко, поскольку российским властям Германия казалась здоровой и патриархальной в отличие от буйной, революционной Франции. Однако тайное франкофильство было в Германии очень сильным, а потому студенты возвращались в Россию с комплексом прогрессивных европейских идей [Берлин 2001: 13]. Некоторые русские мыслители нового поколения в тот момент взяли за образец даже германскую философию особого пути, чтобы выстроить аналогичную систему в России [Травин 2018а: 17–42]. Но большая часть все же, не мудрствуя лукаво, стремилась к тому, чтобы осуществить у нас реформы, близкие по духу германским, и сделать техническую революцию, близкую по духу английской. А самые радикальные западники мечтали о социальной революции на манер французской. Именно тогда один из героев Стендаля сказал, что русские делают все то же самое, что французы, но с опозданием на пятьдесят лет.

«Упоение гегелевской философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя» [Анненков 1960: 156]. С 1835 г. в Московском университете немецкая наука — по свидетельству Константина Кавелина — «стала преподаваться целым кружком талантливых и свежих молодых профессоров» [Кавелин 1989: 263]. А по свидетельству Александра Герцена, вслед за поражением польского восстания 1830 г. у некоторой части русской молодежи стал на месте «детских» революционных воззрений фор-

мироваться интерес к европейской философской мысли от Шеллинга до Сен-Симона [Герцен 1973: 192–193]. В результате между прогрессивными профессорами и мыслящими студентами установились сердечные отношения. «У Грановского, у Кавелина, у Редькина в назначенные дни, — вспоминал Чичерин интеллектуальную атмосферу 1840-х гг., — собиралось всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы» [Чичерин 1929: 31]. Для молодых людей, приехавших в Москву из провинции, в этих кружках открывался совершенно иной мир — мир размышлений и знаний, мир благородных побуждений. Важную роль в становлении умов нового поколения играл Тимофей Грановский, рассказывавший о становлении западного общества и формировании идей свободы, равенства, братства [Там же: 6–10, 41–46, 115–116]. Константин Кавелин давал трезвый взгляд на отечественную историю, далекий от «бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий» [Там же: 40].

Будущие творцы Великих реформ Александра II тоже проходили через кружки. В Петербурге реформаторски мыслящие чиновники, профессора, литераторы собралась вокруг братьев Николая и Дмитрия Милютиных, стремившихся к экономическим и политическим свободам, но не признававших нелегальных способов борьбы за них. В свой петербургский период жизни (1848–1855 гг.) к этому кружку примыкал Кавелин, служивший с Н. Милютиным в Министерстве внутренних дел. Записка Кавелина «Об освобождении крестьян в России» (1855 г.) оказала воздействие на реформаторские процессы 1860-х гг. Учеником Кавелина являлся Чичерин, выступавший не только за отмену крепостничества, но и за серьезные реформы, включавшие установление индивидуального землепользования вместо общинного [Чичерин 1929: 125–135; Дунаева 2010: 207–210, 217, 230]<sup>16</sup>.

Новые идеи, формировавшиеся как в больших университетских аудиториях, так и в узких интеллектуальных кружках, стали в эту эпоху быстро распространяться по России благодаря журналам, которые, по справедливому замечанию Герцена, «вбирают в себя все умственное

---

<sup>16</sup> Еще один петербургский кружок объединял будущих крупных финансовых деятелей — Владимира Безобразова, Евгения Ламанского, Михаила Рейтерна, Ивана Вернадского, интересовавшихся механизмами аккумулирования сбережений населения на Западе [Левин 2010: 136–148].

движение страны» [Герцен 1956: 464]. Журнал представлял собой своеобразную конструкцию, оптимально приспособленную для распространения новых идей. Он «заманивал» читателя звучным именем великого писателя, публиковавшего роман в целом ряде номеров с продолжением, но одновременно в тех же номерах предлагал острую публицистику, выдержанную в духе времени. В результате современные западные веяния, переработанные небольшой группой мыслителей в Москве или Санкт-Петербурге, принимали упрощенную форму, адаптированную к восприятию массового образованного читателя, и достигали дальних провинциальных городков, уединенных помещичьих усадеб, а также консервативных поповских семейств, в которых подрастали неконформистски настроенные молодые поповичи.

Влияние западных идей существенным образом оказало воздействие на ту ситуацию, которая сложилась в России. Новые поколения в большей степени, чем их отцы или деды, испытывали на себе воздействие западного свободомыслия и в меньшей — давление старых традиции. Вследствие этой перемены постепенно начинали трансформироваться старые группы интересов. Хотя помещики продолжали зависеть от крепостного труда и болезненно воспринимали намерение освободить крестьян, в дворянстве все больше становилось людей, которые ставили во главу угла моральную нетерпимость к рабству. Характерен в этом смысле эпизод из дневника Александра Тургенева, встретившегося в Лондоне с борющимся за уничтожение рабства квакером, которому прислуживал свободный негр. Тургенев описывает «черную рожу, которая встретила нас у крыльца его. Это был арап, но с какой счастливой и добродушной физиономией, какой я еще не встречал и в белых неграх! <...> Я вздохнул, подумал о России и взглянул с глубоким чувством зависти и умиления на счастливого арапа» [Тургенев 1964: 417, 419].

Еще до отмены крепостного права свободный и «рабский» виды труда конкурировали друг с другом, причем преимущества свободного понемногу начинали проявляться. Металлургия, возникшая еще в XVIII веке на крепостном труде, стала со временем развиваться медленнее. Россия в середине XIX столетия заметно сократила свою долю в мировом производстве чугуна на фоне быстрого технологического прогресса ряда западных стран. Но при этом отечественная хлопчатобумажная и суконная промышленность, которая с самого начала основывалась на свободном труде, развивалась достаточно динамично. В том числе потому, что импортировали зарубежные технологии. Наемный работник, качество труда которого прямо зависело от оплаты, лучше адаптировался

к сложным технологиям, чем подневольный. Уровень зарплаты в России к середине XIX века оказался высок даже по европейским меркам [Туган-Барановский 1997: 137–141, 226–229, 238–239].

Впрочем, основной удар по крепостничеству нанесла не экономика. В экономическом смысле крепостной труд, наверное, мог бы еще какое-то время существовать, но в моральном он теперь действовал угнетающе не только на рабов, но и на господ, которые не могли себя ощущать одновременно и европейцами, и рабовладельцами. Влиятельные бюрократы, утонченные мыслители, прагматичные помещики все чаще готовы были поддержать отмену крепостного права. «Крепостная система, — справедливо отметил Борис Миронов, — заходила в тупик не из-за ее малой доходности, а по причине невозможности сохранения прежнего уровня насилия. <...> Время для отмены частновладельческого крепостного права наступило в конце 1850-х гг., когда общественное мнение склонилось к мысли о несовместимости крепостного права с духом времени» [Миронов 2003а: 407–408]<sup>17</sup>.

Ощущение нетерпимости рабства усилило поражение, понесенное Россией в Крымской войне. Нельзя сказать, что этот военный конфуз продемонстрировал полную невозможность развивать производительные силы при крепостнических производственных отношениях, как выразились бы на этот счет марксисты. Связь между слабостью армии, уровнем развития промышленности и внеэкономическим принуждением в сельском хозяйстве была весьма сложной, неочевидной. Однако в противостоянии различных групп интересов позор, который довелось испытать царскому режиму, неизбежно должен был укрепить позиции сторонников перемен.

---

<sup>17</sup> «Крепостное право было отменено сверху до того, как оно стало экономическим и социальным анахронизмом» [Миронов 2003б: 298]. Александр Янов жестко критикует Бориса Миронова за эту фразу [Янов 2007: 134–136, 204–206, 219–221]. Вряд ли спор о том, что считать анахронизмом, конструктивен. Это понятие можно трактовать по-разному. Но, думается, важно подчеркнуть, что, во-первых, крупные социальные трансформации происходят обычно лишь в тот момент, когда разные группы интересов в совокупности готовы к переменам, а во-вторых, представления о необходимости перемен могут созреть значительно раньше того момента, когда «старый режим» начнет рушиться из-за экономической неэффективности или социального взрыва. Скажем, СССР с административной экономикой (несмотря на всю ее неэффективность) не был обречен рухнуть именно в 1991 г. Он мог еще долго протянуть даже при пустых прилавках и снижении уровня жизни. Однако разные группы по разным причинам оказались не заинтересованы в его сохранении после августовского путча.



В такую интеллектуальную атмосферу попал после своего восшествия на престол Александр II. Как справедливо отмечал известный публицист Дмитрий Писарев в 1862 г., «чтобы напасть на мысль об уничтожении крепостного права, мало быть гениальным человеком; надо еще жить в такое время, когда вопрос поставлен на виду, когда слышатся голоса за и против, когда, следовательно, важность этого очередного вопроса бросается в глаза даже такому человеку, который еще не знает, на чьей стороне логика и справедливость» [Писарев 1989: 37–38]. Характерны в этом смысле также «посткрымские» наблюдения племянника графа Киселева — Дмитрия Милютин, ставшего позднее военным министром. «Мертвенная инерция, в которой Россия покоилась до Крымской войны, и затем безнадежное разочарование, навеянное Севастопольским погромом, сменилось теперь юношеским одушевлением, розовыми надеждами на возрождение, на обновление всего государственного строя. Прежний строгий запрет на устное, письменное и паче печатное обнаружение правды был снят, и повсюду слышалось свободное, беспощадное осуждение существующих порядков» [Милютин 1999: 39–40].

В атмосфере массового осуждения старой крепостнической системы царь мог наконец осуществлять реформы, поскольку теперь они имели широкую поддержку и не противоречили доминирующим групповым интересам. Возле Александра II сложился кружок реформаторов, важнейшим из которых был его брат, великий князь Константин Николаевич [Ляшенко 2003: 113–116]. Широкий круг чиновников, непосредственно готовивших реформы (Яков Ростовцев, Николай Милютин, Юрий Самарин и др.), образовался в государственных структурах [Гордин 2011: 344–354; Литвак 1991: 73–108].

Таким образом, длительное воздействие на Россию идей свободымыслия, приходящих с Запада, а также практическое изучение зарубежного опыта преобразований постепенно вели к изменению соотношения сил консервативных и реформаторских групп интересов. Освобождение крестьянства выстраивалось, исходя из представлений о необходимости учета интересов разных групп. Крестьяне должны были получить землю, а дворяне — материальную компенсацию за нее.

Более того, надо было устранить признаки насилия со стороны власти. Реформа представляла собой своеобразное «принуждение к миру с крестьянами», которого император требовал от помещиков. Как отмечает Б. Миронов, «выработанную программу надо было непременно утвердить и реализовать *под флагом добровольной инициативы*

*дворянства*. Иначе нарушались две статьи Жалованной грамоты дворянству 1785 г.: “Без суда да не лишится благородный имения” (11-я) и “Да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имения или оное разорять” (24-ая). В силу этого Александр II хотел, чтобы подготовка реформы проходила гласно и, по крайней мере, формально с согласия дворянства, и чтобы ее проведение выглядело как ответ на его обращение. Тем самым отмена крепостного права легитимировалась бы в глазах общественного мнения и ответственность за ее подготовку, проведение и последствия до некоторой степени ложилась бы на само дворянство» [Миронов 2015а: 87; курсив в оригинале. — Д. Т.]. Друг императора виленский губернатор В. Назимов долго уговаривал литовских помещиков, и наконец они выступили с инициативой отмены крепостного права. Александр II милостиво с этой инициативой согласился. С великорусским дворянством дело обстояло сложнее, но и тут нашлась возможность продемонстрировать, что намерение освободить крестьян идет, мол, со стороны самих крепостников. «В архиве нашли старые проекты петербургских помещиков о безземельном освобождении крепостных, которые были представлены как инициатива столичного дворянства» [Там же].

Началась реальная подготовка крестьянской реформы. Впрочем, оказалось, что за нее выступает лишь меньшинство членов Государственного совета, несмотря на всю гуманизацию нравов, проходившую в XIX веке. И тогда император проявил волю и утвердил мнение меньшинства по всем спорным вопросам, имеющим программный характер. «Александр II принудил дворян к освобождению — включив их в сценарий любви дворянства к крестьянству и государю» [Там же: 88].

## Отцы и дети

Примерно сто лет заняло в России продвижение от первых идей о необходимости разрыва с «рабством» до отмены крепостного права. За это время в России сменилось четыре поколения, причем каждое следующее оказывалось немножко ближе к реализации великих идей. Вряд ли сами реформаторы замечали это приближение. Многие из них умирали с чувством безнадеги и с представлением, что Россию никогда не сдвинуть с мертвой точки. Некоторые — отправлялись на каторгу. Но, глядя в прошлое из нашего времени, мы видим, что каждое следующее поколение

было шире, сильнее, образованнее. И готовность очередных «детей» к борьбе каждый раз больше, несмотря на поражение очередных «отцов».

Вот вольтерьянцы екатерининских времен. Их еще очень мало. Они затерялись со своими импортированными мыслями в общей помещичьей массе и внешне почти от нее не отличаются. Это люди, радующиеся дворянской вольности и не слишком грустящие из-за сохраняющегося рабства. Но детям своим они нанимают французских учителей, с которыми в Россию проникают революционные идеи.

Вот младореформаторы «дней Александровых». Они делают рывок от вольности дворянской к вольнодумству и по мере сил стремятся реформировать страну, а не только потреблять книги наряду с картами и охотой, как делали их отцы. Но влияние этой группы основано лишь на том, что небольшая ее часть близка к императору. Отказ царя от реформ превращает младореформаторов в потерянное поколение.

Вот декабристы, представляющие собой первое самостоятельно действующее поколение, готовое бороться за преобразования против государя и государственной машины. Они изучали не только противоречивые последствия революции, но и быстрые преобразования наполеоновской эпохи, а потому видели, в отличие от своих отцов, как быстро может меняться мир, когда у руля встают реформаторы.

И вот, наконец, западники<sup>18</sup> — поколение, засидевшееся в николаевском застое и за это время осознавшее, что в Европе середины XIX века неприлично уже быть «рабовладельцем». Это поколение смогло на равных бороться с консерваторами, проводя свои идеи в ущерб их интересам. И оно победило, воспользовавшись окном политических возможностей, открывшимся после Крымской войны.

Великие реформы Александра II не были случайным явлением в истории России. Они не были маленьким частным эпизодом, затесавшимся между тиранией самодержавия и тиранией сталинизма, как полагают порой.

Во-первых, они медленно вызревали в российском обществе и долго готовились различными группами реформаторов — как сверху, так

---

<sup>18</sup> Образные наименования поколений, естественно, условны. Так же, как, скажем, шестидесятники XX века. Не следует думать, будто все вольтерьянцы читали Вольтера, а, скажем, не Монтескье, будто все младореформаторы примыкали к кружку молодых друзей императора, будто все декабристы выходили на Сенатскую площадь и будто все западники относились к той группе интеллектуалов, которую принято противопоставлять славянофилам.

и снизу. Понадобилась смена четырех поколений для того, чтобы реформаторские идеи охватили значительную часть общества. И осуществлены преобразования оказались лишь тогда, когда на их стороне были не узкие группы прогрессивно настроенных бюрократов и не столь же узкие группы непреклонных заговорщиков, а весьма широкие слои населения, полагавшие, что Россия является частью Европы и жизнь в этой стране должна быть организована по-европейски.

Во-вторых, все то, что происходило в России на протяжении долгого периода вызревания реформ, четко отражало суть процессов, которые шли на Западе. Отмена крепостного права в нашей стране соответствовала отмене крепостного права в Пруссии и в Габсбургской империи (а также в Польше, разделенной между этими державами и Россией). А те западные страны, в которых крепостного права к XIX веку уже не существовало, расставались с плантационным рабством и с такими близкими к крепостничеству формами эксплуатации, как энкомьенда и мита.

В-третьих, отмена крепостного права не только предоставила свободу сельским жителям. Она трансформировала всю жизнь России. Дифференциация крестьянства способствовала формированию рыночных отношений в деревне. А значительный отток части крестьянства в город создал там рынок труда, столь необходимый для индустриализации. Этот процесс начался в России еще в предвоенные десятилетия, а вовсе не в межвоенные, как полагают адепты сталинской индустриализации. Изменилась структура населения, возник быстрый экономический рост, появились группы интересов, существенно выигравшие от свободы и рынка.

Другое дело, что модернизация — это сложный процесс, не вписывающийся в былые оптимистичные представления о прогрессе человечества как о равномерном, неуклонном движении вперед. Позитивные перемены, полученные в ходе Великих реформ, стали в то же время базой для будущей трагедии России. Порой высказываются мнения, будто проблема развития состояла лишь в нерешительности Александра II, в его унаследованном от отца консерватизме и неготовности перейти от отдельных реформ к конституционной монархии [Литвак 1991: 284, 300]. С таким упрощенным представлением трудно согласиться, однако изучение вопроса о противоречивости модернизации выходит уже за пределы данного доклада.

## Литература

- Анисимов Е.* Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия, 2005.
- Анненков П.* Литературные воспоминания. М.: Гос. изд. худ. литературы, 1960.
- Архангельский А.* Александр I. М.: Молодая гвардия, 2006.
- Афанасьев Г.* Условия хлебной торговли во Франции в XVIII веке. Одесса: Тип. Кирхнера, 1892.
- Базаров В., Степанов И.* Очерки по истории Германии в XIX веке. Т. 1. Происхождение современной Германии. СПб.: Изд-во С. Скирмунта, 1905.
- Барг М., ред.* История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII–XVIII века). М.: Наука, 1994.
- Бастиа Ф.* Экономические софизмы // Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии; Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. М.: Изд. дом «Дело», 2000.
- Берлин И.* История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- Биллингтон Д.* Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. М.: Рудомино, 2001.
- Боборыкин П.* Воспоминания. Т. 1. М.: Художественная литература, 1965.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 3: Время мира. М.: Прогресс, 1992.
- Бродель Ф.* Что такое Франция? Кн. 2: Люди и вещи. Часть 2: Крестьянская экономика до начала XX века. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997.
- Валицкий А.* Философия права русского либерализма. М.: Мысль, 2012.
- Вольтер Ф.-М.* Философские письма // Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1988.
- Герцен А.* О развитии революционных идей в России // Герцен А. Сочинения. Т. 3. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1956.
- Герцен А.* Былое и думы. Т. 1. М.: Художественная литература, 1973.
- Гордин Я.* Мятёж реформаторов: 14 декабря 1825 года. Л.: Лениздат, 1989а.
- Гордин Я.* Право на поединок. Л.: Советский писатель, 1989б.
- Гордин Я.* Герои поражения. СПб.: Азбука, 2011.
- Грин Д.* История Англии и английского народа. М.: Кучково поле, 2018.
- Гриневич В.* Народное хозяйство Германии. Очерк развития (1800–1924). Берлин: Научная мысль, 1924.
- Державин К.* Вольтер. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1946.
- Дживелегов А.* История современной Германии (1750–1862). СПб.: Брокгауз — Эфрон, 1908.

*Доусон У.* Манчестерский либерализм и международные отношения: принципы внешней политики Ричарда Кобдена. М.; Челябинск: Социум, 2019.

*Дунаева Н.* Между сословной и гражданской свободой: эволюция правосубъектности свободных сельских обывателей Российской империи в XIX веке. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2010.

*Екатерина II.* Записки императрицы Екатерины II. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1907.

*Зомбарт В.* Евреи и их участие в образовании современного хозяйства. СПб.: Э. О. Левинсон, 1910.

*Израэль Д.* Голландская республика. Ее подъем, величие и падение. 1477–1806. Т. 2. М.: Клио, 2018.

*Иконников В.* Граф Н. С. Мордвинов. СПб.: Издание Д. Е. Кожанчикова, 1873.

*Иосифова Б.* Декабристы. М.: Прогресс, 1983.

История XIX века. Т. 4. М.: Государственное соц.-экон. изд-во, 1938.

История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера: статьи и извлечения из энциклопедии. Л.: Наука, 1978.

*Кавелин К.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989.

*Каменский А.* «Под сению Екатерины...»: вторая половина XVIII века. СПб.: Лениздат, 1992.

*Кауфман Г.* Политическая история Германии в XIX веке. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1909.

*Кахк Ю.* Крестьянство восточнонемецких земель в XVI — середине XIX в. // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 3. М.: Наука, 1986.

*Ключевский В.* Курс русской истории. Часть V // Ключевский В. Сочинения. Т. 5. М.: Мысль, 1989.

*Кнапп Г.* Освобождение крестьян и происхождение сельскохозяйственных рабочих в старых провинциях прусской монархии. СПб.: Изд-во О. Н. Поповой, 1900.

*Коломиец А.* Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до Александра Освободителя. М.: Редакция журнала «Вопросы экономики», 2001.

*Кони Ф.* Фридрих Великий. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

*Костюшко И.* Прусская аграрная система. К проблеме буржуазной аграрной эволюции прусского типа. М.: Наука, 1989.

*Костюшко И.* Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму (сравнительный очерк). М.: ИСБ, 1994.

*Левин И.* Акционерные коммерческие банки в России. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010.

*Леонтович В.* История либерализма в России. 1762–1914. М.: Русский путь, Полиграфресурсы, 1995.

*Лист Ф.* Национальная система политической экономии. СПб.: А. Э. Мертенс, 1891.

*Литвак Б.* Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М.: Политиздат, 1991.

*Лукоянов И., сост.* Министры финансов императорской России. Е. Ф. Канкрин, М. Х. Рейтерн, Н. Х. Бунге. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2020.

*Ляшенко Л.* Александр II, или История трех одиночеств. М.: Молодая гвардия, 2003.

*Мадариага И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М.: НЛЮ, 2002.

*Меринг Ф.* История Германии с конца средних веков. М.: Красная новь, 1924.

*Милютин Д.* Воспоминания. 1860–1862. М.: Редакция альманаха «Российский архив», 1999.

*Мироненко С.* Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М.: Мысль, 1990.

*Миронов Б.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX веков). Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003а.

*Миронов Б.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX веков). Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003б.

*Миронов Б.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.

*Миронов Б.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015а.

*Миронов Б.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 3. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015б.

*Митрофанов П.* Леопольд II Австрийский. Т. 1. Часть 1. Пг.: Тип. «Научное дело»: 1916.

*Митрофанов П.* История Австрии с древнейших времен до 1792 г. М.: КРАСАНД, 2010.

*Монтескье Ш. де.* О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955.

*Нечкина М.* День 14 декабря 1825 года. М.: Мысль, 1975.

*Нечкина М.* Декабристы. М.: Наука, 1983.

*Окунь С.* Декабрист М. С. Лунин. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985.

Освобождение крестьян на Западе и история поземельных отношений в Германии. М.: Изд-во М. И. Водовозова, 1897.

*Пах П.* Первоначальное накопление капитала в Венгрии // *Studia Historica. Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapestini, 1952.*

- Писарев Д.* Исторические эскизы. Избранные статьи. М.: Правда, 1989.
- Полтавский М.* История Австрии. Пути государственного и национально-го развития. Часть 1. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1992а.
- Полтавский М.* История Австрии. Пути государственного и национально-го развития. Часть 2. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1992б.
- Попов Н., ред.-сост.* Монархи Европы: судьбы династий. М.: Республика, 1996.
- Сафонов М.* Проблема реформ в правительственной политике России. На рубеже XVIII и XIX вв. Л.: Наука, 1988.
- Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 23–24 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. XII. М.: Мысль, 1993.
- Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 25–26 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. XIII. М.: Мысль, 1994а.
- Соловьев С.* История России с древнейших времен. Т. 27–28 // Соловьев С. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. XIV. М.: Мысль, 1994б.
- Тимофеев Д.* Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX века. Челябинск: Энциклопедия, 2011.
- Томсинов В.* Сперанский. М.: Молодая гвардия, 2006.
- Травин Д.* У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад второй). (Препринт М-31/13; Центр исследований модернизации ЕУСПб.) СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
- Травин Д.* У истоков модернизации: финал. (Препринт М-50/16; Центр исследований модернизации ЕУСПб.) СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016.
- Травин Д.* Модернизация и реформация. (Препринт М-60/17; Центр исследований модернизации ЕУСПб.) СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.
- Травин Д.* «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018а.
- Травин Д.* Англия: история успеха (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 1). (Препринт М-67/18; Центр исследований модернизации ЕУСПб.) СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018б.
- Травин Д.* Франция: успешная страна на пути к провалу (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 2). (Препринт М-74/19; Центр исследований модернизации ЕУСПб.) СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019.



*Травин Д., Гельман В., Заостровцев А.* Российский путь: Идеи, Интересы, Институты, Иллюзии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.

*Травин Д., Маргания О.* Европейская модернизация: в 2 кн. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2004.

*Травин Д., Маргания О.* Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2011.

*Трубецкой С.* Записки. 1844–1845, <1854> гг. // Мемуары декабристов. М.: Правда, 1988.

*Туган-Барановский М.* Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М.: Наука, 1997.

*Тургенев А.* Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л.: Наука, 1964.

*Фрейдзон В.* История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). СПб.: Алетейя, 2001.

*Хархордин О.* Республика, или Дело публики. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020.

*Чечулин Н.* Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб.: Сенатская типография, 1906.

*Чичерин Б.* Воспоминания: Москва сороковых годов. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929.

*Шильдер Н.* Император Павел I. Историко-биографический очерк. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1901.

*Шильдер Н.* Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. 1. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1904а.

*Шильдер Н.* Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. 2. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1904б.

*Шоню П.* Цивилизация Классической Европы. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.

*Щербатов М.* О повреждении нравов в России // О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и путешествие А. Радищева. Факсимильное издание. М.: Наука, 1985.

*Эйдельман Н.* Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. СПб.: СПб комитет Союза литераторов РСФСР, 1992.

*Юнг А.* Путешествия, предпринятые в 1787, 1788 и 1789 годах для познания земледелия, богатства и национального благосостояния Французского королевства. СПб.: ИНАпресс, 1996.

*Янов А.* Россия и Европа. Кн. 2: Загадка Николаевской России, 1825–1855. М.: Новый хронограф, 2007.

*Berend I., Ranki G.* Economic Development in East-Central Europe in the 19-th and 20-th Centuries. New York: Columbia University Press, 1974.

*Blanning T.* The French Revolution and the Modernization of Germany // Central European History. 1989. Vol. 22, N 2.

*Caron F.* An Economic History of Modern France. London: Routledge, 1979.

*Carr W.* A History of Germany, 1815–1845. London: Edward Arnold, 1969.

*Clapham J.* The Economic Development of France and Germany. 1815–1914. New York, Cambridge: Cambridge University Press, 1923.

*Dunham A.* The Anglo-French Treaty of Commerce of 1860 and the Progress of Industrial Revolution in France. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1930.

*Dunham A.* The Industrial Revolution in France. 1815–1848. New York: Exposition Press, 1955.

*Founten C.* The Industrial Revolution in France. 1700–1914 // The Fontana Economic History of Europe. Vol. 4, Part 1. London and Glasgow: Colins / Fontana Books, 1973.

*Galenson D.* The Rise and Fall of Indentured Servitude in the Americas: An Economic Analysis // The Journal of Economic History. 1984. Vol. 44, N 1.

*Gross N.* The Industrial Revolution in The Habsburg Monarchy. 1750–1914 // The Fontana Economic History of Europe. Vol. 4, Part 1. London and Glasgow: Colins / Fontana Books, 1973.

*Haines M.* Agriculture and Development in Prussian Upper Silesia, 1846–1913 // Journal of Economic History. 1982. N 2.

*Hamerow T.* Restoration, Revolution, Reaction. Economics and Politics in Germany, 1815–1871. Princeton: Princeton University Press, 1958.

*Hardman J.* Louis XVI. New Haven: Yale University Press, 1993.

*Henderson W.* The Zollverein. Cambridge, Cambridge University Press, 1939.

*Henderson W.* The Rise of German Industrial Power, 1834–1914. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1977.

*Holborn H.* A History of Modern Germany. 1648–1840: New York: Alfred A. Knopf, 1964.

*Jászi O.* The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago, University of Chicago Press, 1929.

*Johnston W.* The Austrian Mind. An Intellectual and Social History. 1848–1938. Berkeley: University of California Press, 1972.

*Judson P.* Exclusive Revolutionaries. Liberal Politics, Social Experience and National Identity in the Austrian Empire. 1848–1914. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.

*Kemp T.* Economic Forces in French History. An Essay on the Development of the French Economy, 1760–1914. London: Dennis Dobson, 1971.

*Kitchen M.* The Political Economy of Germany, 1815–1914. London: Croom Helm; Montreal: McGill-Queen's University Press, 1978.

*Macartney C.* The House of Austria. 1790–1918. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978.

*Mathias P., Postan M., ed.* The Cambridge Economic History of Europe. Vol. VII: The Industrial Economies: Capital, Labour and Enterprise; Part I.: Britain, France, Germany and Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

*McGuigan D.* The Habsburgs. New York: W. H. Allen, 1966.

*O'Brien P., Keyder C.* Economic Growth in Britain and France. 1780–1914. Two Paths to the Twentieth Century. London: G. Allen & Unwin, 1978.

*Pascal R.* The Growth of Modern Germany. London: Cobbett Press, 1946.

*Price A.* The Evolution of Zollverein. A Study of the Ideas and Institutions Leading to German Economic Unification between 1815 and 1833. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1949.

*Roussakis E.* Friedrich List, the Zollverein, and the Unity of Europe. Bruges: College of Europe, 1968.

*Rudolf R.* Banking and Industrialization in Austria-Hungary. The Role of Banks in the Industrialization of Check Crownlands. 1873–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

*Seeley J.* Life and Times of Stein, or Germany and Prussia in Napoleonic Age. Vol. 2. London; Cambridge: Cambridge University Press, 1879a.

*Seeley J.* Life and Times of Stein, or Germany and Prussia in Napoleonic Age. Vol. 4. London; Cambridge: Cambridge University Press, 1879b.

*Smith M.* Tariff Reform in France 1860–1900. The Politics of Economic Interest. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1980.

*Wright G.* France in Modern Times. 1760 to Present. Chicago: Rand McNally and Company, 1960.

*Дмитрий Травин*

**Модернизация и свобода**

Препринт М-79/20

В авторской редакции

Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге  
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А

[books@eu.spb.ru](mailto:books@eu.spb.ru)

Подписано в печать 18.11.20.

Формат 60x88 1/16. Тираж 20 экз.